

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

7

ПАРИЖ

1980

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

The League of Supporters : Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин -Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, А. Пятигорский, Е. Эткинд

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1980

Адрес редакции :

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Н. ЛЕПИН

ПАРАФРАЗЫ И ПАМЯТОВАНИЯ

Настоящие истины — истины Жизни, грамматического «общего настоящего» — это радостные истины. Как слово Божие «радующие сердце, трогающие». Горькие истины — *пишу истины*: мирские истины исторического настоящего, истины времени преходящего, полувремени.

Но истины исторического времени — это *истины* исторического времени, — спасительные истины безрадостного времени, безвременья. Горькие и, как лекарство, целебные.

От каждого — свое.

МОСКВА

1979

ПАМЯТИ ГАУТАМЫ БУДДЫ

В четырех спасительных Истинах Будды спасение достигается через знание (а не любовь) — и через следствие знания, через сострадание. Этика сострадания во многом выше, а нам, людям двадцатого века, ближе, чем этика любви. Любовь присуща всему живому, это начало душевное. Сострадание — только человеку, это начало духовное. Этика сострадания *шире* этики любви. Когда я люблю, я и страдаю предмету любви, но для сострадания мне не требуется любви. Императив сострадания *реальнее* любви, для которой императив как таковой лишен смысла («сердцу не прикажешь»). Любить человека дурного, злого, пошлого (то есть огромное множество людей!) я не могу — и не хочу. Но жалеть, глубоко сочувствовать, сострадать я должен, я могу — даже Дьяволу! Недаром некоторые великие мистики —

а мистика это единственное верующее сознание, отвечающее духу Нового времени! — верили, что и Сатана будет (в конце времен) прощен, спасен.

Только из сострадания (всему живому, страдающему), а не из любви — которая, как желание, еще не достигла знания, еще не "пробудила" нас — Будда Татхагата («Всесовершенный») под деревом Бодхи не отошел тут же в блаженную Нирвану: не поддался коварному совету Мары (Смерти, Сатаны), превозмог последнее и величайшее искушение, для просветленного куда более соблазнительное (а нам гораздо более понятное!), чем три — столь странные для воплощенного Бога-Сына — искушения Иисуса Сатаной в пустыне. Превозмог соблазн и отправился катить спасительное Колесо Закона по белу свету.

И в самом Евангелии наиболее потрясающий момент в истории страстей Христовых — и не менее значительный, поучительный, чем сама Нагорная проповедь! — это последние слова отчаявшегося от духовных мук Иисуса: «Или, Или, лама азафтани» (в форме ивритской, а не синодального текста. — Л.). Сам Отец не выдержал этих мук Сына, более страшных, чем физические муки распятия и все издевательства черни, — и отпустил Его душу. И лишь в этот момент — высочайшего духовного страдания — «завеса в храме разодралась надвое... и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых

воскресли и вышли из гробов», сострадая Ему!

Только сострадание роднит нас со всем живым, с самой природой жизни. Заключительные в трагедии Эсхила слова Прометея ("Спасителя" людей в античной мифологии) это крик о сострадании, зов к Матери-Природе:

О, святая, могучая Мать моя,
О, Эфир, над землей разливающий свет,
Поглядите, страдаю безвинно!

— последние три стиха «Прикованного Прометея». Высший род поэзии, трагедия, основан на присутствии всему живому страхе — и чисто человеческом *сострадании*, которым достигается катарсис, освобождение от страха.

Ибо предмет трагического сострадания — это предельно патетическая форма мук самости и ее преодоления, мучительное межеумочное состояние: муки рождения Личности, второго (лишь человеку присущего) рождения — в духе. Из минорного Духа мировой Музыки, мирового Духа Сострадания.



ПАРАФРАЗ ИЗ КОНФУЦИЯ

«Будь я правителем государства Чжоу, или хотя бы советником правителя, я бы первым делом исправил слова» (Конфуций). Он, Конфуций, удалил бы ложную синонимику, пошлую порчу слов в обиходном словоупотреблении. Ведь если «в начале было Слово», то всякая коренная ре-форма Жизни должна начаться с реформы слов, главного орудия сознания и общения между людьми, с восстановления правильного значения слов.

Два примера — из тысяч приходящих на ум.

Слово "повиноваться" считается синонимом слов "покоряться", "подчиняться". Но мы *покоряемся*, когда нас покоряют, обратив в покорных рабов. Мы *подчиняемся*, преклонившись перед "чином", — в мире чиновников и подчиненных верно-подданных. В обоих случаях мы *снимаем с себя ответственность*, возлагая ее впредь на покори-

теля, на начальника (как первоначала всех начал и зол), — «начальникам видней, они газеты читают». И только личность — *повинуется*, принимает на себя самое всю вину за последствия, отвечает за свои поступки. Повиноваться можно лишь в состоянии свободы: хотя бы только внутренней. А тем более — и внешней.

Второй пример.

"Убедить" и "победить" (например, в споре) считаются синонимами. И действительно эти два слова этимологически родственны, восходя к древнерусскому "бедити" — от "беда" (ср. церковнославянское "бедити" — "принуждать"). В дальнейшем, однако, они так разошлись, что синонимы стали антонимами. И великая наша *беда*, что мы это недостаточно сознаем. *Побеждают* — силой, насилием. Насилию нет места в духовном, в сфере свободы. По-бедить — значит оставить беду *позади*, за собой; завоевать — и пойти дальше. Победа в сфере силы — ведет, идет впереди. В военном деле победа не может быть *за* нами («Наше дело правое, победа будет за нами» — слова Молотова после нападения Гитлера на СССР — звучали горьким шутовством, невольно пророческой правдой в устах юродивого: победа долгое время шла по пятам, — воистину "за нами"). Истина, правда не может *победить*. Поэтому Иисус *молчал* на суде Пилата, где невозможно было *убедить*. И великой *бедой* для учения Иисуса оказалась *победа* христи-

анской церкви, начиная с Константина. Беда истине, коли она победила, — беда для нее самое, для человечества. Правда может только *убедить* — того, в ком живет правда. Правда вечно *у беды*, с нами рядышком, — в нашем вечно бедственном мире. Неправда порой отступает перед Правдой — как Тьма от Света: уходит вглубь, или притаясь, но не исчезая. Дело Правды — бесконечное, вечное, *как сама Правда*: вечно убеждать. Вечно стоять, "отстаивать" Истину.

Правда убеждает, заражает, метафорически "плениет" ("захватывает" нас), — если она нам впрямь дорога. Правда *обаяет* (древнерусское "обавать", "обвораживать", "околдовывать" — красотою "баяния", речения), "чарует" нас: порой одним своим видом, безмолвно. Она потрясает нас самым фактом, что «правда все же есть в мире», что «свет во тьме светит и тьма не объяла его», что Ложь не победила Правду.

В века открытого господства грубой силы, но они же наивно религиозные, глубоко верующие Средние века, это понимали лучше, чем в наше просвещенное время: великих молчаливиков и пустынников тогда ставили выше знаменитых проповедников и отважных воинов-крестоносцев. Алексей Божий человек чтился намного выше воинственного проповедника Колумбана. В «Рае» Данте созерцатели-отшельники находятся на небе Сатурна — ближе к Эмпирею и выше крестоносцев

на небе Марса, проливших свою кровь за веру. Молчаливый пример красноречивее, вернее убеждает, чем победа, купленная кровью, силой. Для нашего, духовно во многом более грубого, "практического" времени «дело верно, когда под ним струится кровь». Но ведь даже в этом, трагическом случае правда торжествует, "пленяет" — примером, а не силой, не победой.

Истина (идея) становится материальной силой, овладевая массами, учил великий учитель нашего времени, который себя, коммуниста "научного", противопоставлял неполноценным коммунистам "утопистам", а на деле оказался на менее верном пути, нежели они, куда более утопистом, чем его предшественники. Ибо беда истине, что стала силой, — и не могла не выродиться в грубую силу, раз "овладела массами", которые не признают иной правоты, чем право силы. Сила проглотила вместе с наживкой и крючок, и леску, и грузило, всю удочку — и самого рыболова со всеми его истинами. А заодно и многих восторженных зрителей, восхищавшихся потрясающими успехами в ловле рыбы этого гурмана, любимым блюдом которого, по собственному признанию, была рыба.



ПАМЯТИ ХАМА, СЫНА НОЕВА, ИЛИ ПАРАФРАЗ НА ТЕМУ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Библейский рассказ о Хаме, втором сыне патриарха Ноя, — это подлинная парадигма всякого хамства как явления антикультуры. Своего рода «пролегомены к возможной в будущем науке хамоведения».

Основные моменты:

1. Эпизод с Хамом *завершает* рассказ о *всемирном Потопе*. Хамство выступает на арену истории после некоего великого кризиса, после выхода жизни из традиционной колеи — при закате старой эры и переходе к новой.

2. Житейски это выражается в ослаблении культурных перегородок, в более близком *соприкосновении* — в быту — скотов с людьми, "чистых" с "нечистыми", в некоем уравнивании жизненных условий. Сто пятьдесят дней совместной жизни со

всеми породами животных в одном ковчеге подготовили выступление Хама.

3. Социальная почва хамства, однако, не только в материально *трудных* условиях кризисного перелома, но и в наступающих затем (или одновременно) материально *благоприятных* показателях начинающегося «прогрессивного подъема». Земля была утучнена длительным потопом, «Ной начал возделывать землю и посадил виноградник» (ст. 20), который обильно плодоносил. Ной попробовал — по-видимому, впервые в истории гастрономии — вина «и выпил он и опьянел» (ст. 21). Рост "потребления", расцвет "потребительского" общества, вызванный «материальным подъемом», — важная социальная предпосылка хамства.

4. Но дело не только в социально *материальном*. Социальный кризис снизу сопровождается — и это не менее важно — моральным упадком сверху. Расцвет "потребления", "реабилитация плоти" порождает некую *духовную беспечность* — и распущенность. Ной «лежал обнаженный в шатре своем» (ст. 21), — в самом неприглядном виде. В культуре все начинается сверху, с культурных верхов. Рыба тухнет с головы.

5. И тут-то выходит на сцену Хам. «И увидел Хам наготу отца своего» (ст. 22). Хам приходит к потрясающему открытию: у папы патриарха между ногами те же штучки, что и у нас с братьями, те же, что я, Хам, не раз видел в ковчеге у всех ско-

тов. Между всеми нами, между людьми и скотами — право, никакой существенной разницы. Ведь в этих штучках, начале всех начал — всё. Остальное — только "надстройки" на биологическом базисе. Все равны — и должны быть во всем уравнены! В абсолютном эгалитаризме — вся культурология хамства, прежде всего *политика* и *этика* хамства.

6. И его *эстетика*. «И вышедши рассказал двум братьям своим», — побежал первым делом поделиться замечательным своим открытием. И впрямь, что может быть интереснее?! Эротический рассказ, неприличный анекдот, матерное ругательство, — есть ли на свете что-нибудь занимательнее, увлекательнее? Поистине до наших дней неисчерпаемая тема общения (особенно устного, *живого*) для потомков Хама — во всех кругах общества.

7. Но братья не оценили открытия Хама. «Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад и они не видели наготы отца своего» (ст. 22). Начало культуры — стыд. Об этом сказано еще в третьей главе Книги Бытия: лично «Господь Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (ст. 21). Противоположность Номо Руденс (Стыдящийся Человек) — это Хам, Человек Бесстыдный. Суть культуры — культ, уважение, благоговение. Для патриархального общества — прежде всего перед патриархом, перед родителями.

8. В этом мифе о сыновьях Ноя все полно парадигматического значения — вплоть до возраст-но *переходного* места Хама между его братьями, старшим Симом и младшим Иафетом. Ибо Хам — существо межеумочное, в культурном обществе — деклассированное. Как правило, социальная база Хама (о чем знали еще древние римляне) — это *Rus in urbe* — "деревня в городе". Район Хама, его местожительство — пригород, Хам — человек пригородный: мораль патриархальная (деревенская) утрачена, а культурная ("городская") еще не усвоена. Хам — опасный полужнайка. Хам — вечный профан (*profanus* — "предхрамный"), вечно "непосвященный", непричащенный, "беспричастный", духовный недоносок, недоучка. Но самоуверенности и готовности других поучать — хоть отбавляй.

9. И пусть сам Хам фанатически настаивает на своей универсальности ("все равны"), в иерархии культурной жизни — а культура по природе иерархична, раз личность это *степень* культуры, — место Хама, пока он Хам, всегда *внизу*: «раб рабов братьев своих», как предсказал и заповедал, проснувшись, патриарх отец. На самой низшей ступени. Жесткие репаменты для Хама — прежде всего необходимы самому Хаму, вечному недоумку, недорослю культуры. И, разумеется, жизненно необходимы также обществу, породившему Хама.

Оторой тезис Горгия — после онтологического и перед педагогическим — тезис гносеологический («невозможность абсолютного познания») доказывається так: «*Мыслимо белое, если свойственно предмету мысли (т. е. личным представлениям мыслящего субъекта. — Л.) быть белым*». Существует нерасторжимое единство познающего субъекта и познаваемого (представляемого) объекта.

Во всей философской гносеологии не знаю ничего более гениального, чем эта истина великого "софиста". Здесь уже заложена вся религия будущей гностики: спасение различно для "чистых" ("пневматиков") и для "нечистых" ("соматиков") — соответственно собственной их природе. Здесь и вся "критическая" гносеология Канта. Здесь предвосхищено блистательное решение антиномии идеализма и материализма у Фихте, — «каков человек, такова его философия»: если ты — сильный, ты, конечно, идеалист; ежели ты — слабый и среда тебя определяет, ты, разумеется, материалист.

На свой лад все правы. Спор об истине вечен, как сама истина. И релятивно это учение только с виду. Человек — степень Человека. Все дело, батенька, в том, кто ты. Чтобы познать истину ("белое"), надо *быть* в истине (в "белом"), надо *самому быть* "истинным" ("белым"): хотя бы в "достаточной степени".

ПАМЯТИ СОКРАТОВА ДЕМОНА

Демон Сократа — это сам Сократ: скромная "эротематическая" (в вопросах и ответах) форма его философской беседы. Демон знает только то, что он "не знает", — и учит Сократа вначале усомниться в том, знает ли сам Сократ. Демон удерживает Сократа от поспешного решения, отговаривает от необдуманного поступка, но не указывает, *что* делать. Демон Сократа — "философ" ("любящий мудрость"), а не "софист" (присяжный "мудрец"). Он — наша совесть, которая не позволяет нам дурного поступка, упрекает даже за дурное намерение («вот видишь, какой ты нехороший, что задумал, — ведь, небось, считал себя хорошим»), "грызет" за дурное дело, требует "*покаяния*" (то есть этимологически: «как: же, о, Господи, как я мог такое сделать!»), но в свое время не подсказывала, *что* делать. Совесть сама *не* *ведает*, что де-

лать, не ее это дело, на то есть разум. Она — *советь*, а не тайный или действительный *советник*, совесть часто — в наши дни даже весьма часто — антисоветчик. Как порой формальная логика в рассуждении, как большинство ветхозаветных заповедей в поведении, *форма* консультации у совести — *отрицательно* предостерегающая, а не положительно повелевающая: «ты, как свободная, разумная личность, сам должен найти выход из положения, а я только скромный консультант».

Демон Сократа — всего лишь полубог, светофор, открывающий путь к Истине, а не указатель пути, не сама Истина. Демон — опытный посредник между свободным человеком, созданным по образу и подобию Божьему, и самим Богом, Истиной.



ПАМЯТИ ПЛАТОНА

«Комос», «комос» и «трагос».

Поздний Платон учил, что каждый из нас, если хорошенько подумать, — не больше, чем «кукла», «марионетка (thayama) богов» («Законы», I), что миф о том, что «мы — куклы», даже способствовал бы сохранению добродетели! Люди — это неразумные и бездушные куклы, в которых вплетены нити, управляющие всеми движениями человека и всей его жизнью. «Нити эти находятся неизвестно в чьих руках, в конечном счете — в руках богов». «Всякий мужчина и всякая женщина пусть проводят свою жизнь, *играя в наипрекраснейшие игры*». Надо жить «играя» («Законы», VII) — «в жертвоприношениях, песнопениях, плясках, чтобы в жизни снискать милость богов и прожить согласно свойствам своей природы».

Платон здесь близок Конфуцию, его учению о великой, единственной по значению, роли музыки

и обрядов для народа, близок эстетике Шиллера, в которой игре отводится решающая роль в самовоспитании "природного" человека, трансформации его эгоистической (несправедливой, своекорыстной) животной природы в природу "гражданственного" нравственного сознания. "Играя" (в высоком, духовно увлекательном, а не спортивно развлекательном смысле), человек учится поступать "незаинтересованно", несвоекорыстно, *жить так, как он играет*: играет — согласно "правилам", мечтает выиграть, но согласно "правилам", а не так, как Ноздрев играет в шашки. Играя, человек-эгоист становится "нравственным" человеком, гражданином свободного общества: путь к свободе, по Шиллеру, лежит не через террор законов (как полагали в его время во Франции якобинцы), а через игру!

Единство "космоса", "комоса" (комического) и "трагоса" (трагического). Участник всенародного комоса, играя, *смотрит в космос*, сопричастен космическому, изображая или созерцая *игровое* действие: *подобное* космическому. Комос — это мистерия, на особый ("смешной"), но тоже космический лад: после всякого рода уродливых "комических" (ибо, по Платону, существо комического — это уродство) перипетий, после временных отклонений от извечного Порядка, все разрешается (в финале комедии) благополучно, как подобает *нерушимому Космосу*. Смешной анекдот, который лег в основу фабулы комедии, — это своего рода легенда

или миф — и все понимают, что неважно, «был ли мальчик или не было мальчика»: миф выше эмпирического реального факта и выше личной (авторской) выдумки, миф — символ космоса. И недаром народ во все времена так любит *анекдоты* (греч. "неизданное"). В подлинном анекдоте — жанре насквозь игровом и по содержанию и по исполнению, в этом *живом жанре устного творчества* — выступает либо *мудрость космоса* (если анекдот в форме параболы, притчи), либо сатирическое *развенчание* казенного *псевдокосмоса*, царящего в современном обществе. В том и другом случае анекдот — это *ходячий* и вечно "неизданный" миф.

А когда космос — социальный, культурный — хворает, болеет *муками родов*, когда сам род рождает, то это трагос ("трагическое"). Трагическая игра — это *патетический* космос, игровое изображение хворающего человеческого (и космического) универсума, смертных (и необходимых Жизни) мук становления нового космоса. Благодаря серьезной тональности, «трагос» еще ближе мифу, чем «комос»; он сродни древнему богослужению, *магическому обряду*, которым *поддерживался, восстанавливался в своих силах*, сам Космос.

И потому-то боги, охранители космоса, создали человека, согласно Платону, «дабы он играл». Выводя человека за пределы узких индивидуальных интересов, игра содействует сохранению Порядка — в человеческом обществе и во Вселенной.

ПАРАФРАЗ ИЗ «ОТЧЕ НАШ»

Каждое утро, молясь — единственной молитвой, завещанной самим Иисусом, все прочие слишком человеческие, церковные, недостойно антропоморфные! — надо в наше время после «И не введи нас во искушение» — добавлять: «И не дай мне, Отче, стать брюзгой — избави меня от *нынешнего* духа, от Лукавого».



ПАМЯТИ РАБИ ИЕГОШУА, ИЛИ О ПСИХОФИЗИЧЕСКОМ ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ

Некое уютное помещение, имеющееся в каждой квартире и общественном учреждении, получило свое "духовное" название («кабинет задумчивости»), быть может, не совсем случайно. Недаром индусская йога так настаивает на важности позы тела для нормального настроения души и правильного функционирования духа.

По поводу одного из великих «танаим» (первая плеяда творцов Талмуда), тезки Иисуса Христа, а именно, по поводу раби Иегошуа, столь же некрасивого, как Сократ, и почти столь же мудрого, к тому же для талмудиста на редкость светски образованного, один из «эмараим» (вторая плеяда талмудистов), дивясь богатству его познаний в языческой мудрости, задает простодушный вопрос — когда же благочестивый раби Иегошуа успел все это изучить, ежели праведному еврею строго-на-

строго предписано: «Изучайте слово Божие денно и ночью»? Ответ гласит: раби Йегошуа предавался эллинской мудрости ежедневно — и даже неоднократно, — пока отправлял естественные надобности: в таком месте и в такое время, когда священными материями заниматься не подобает...

Возможно, что наше человеческое творчество и духовные плоды его — это своего рода экскременты Абсолютного Духа, некое самоочищение, потребное, оказывается, и для Него, и весьма полезное (как "удобрение"?) для Земли. И, между прочим, в тех же двух — противоположных — видах расстройства: "муки творчества", когда долго никак не получается, — и в слишком бурной форме.

ПАРАФРАЗ ИЗ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО

Есть времена, когда — не говоря уже о Вере и Любви — но и более скромная их сестра, средняя из наших трех Матерей, та, что, по мифу о Пандоре, будто бы «всегда снами» (после того, как Бабушка Астрея ушла на небо), даже она, Надежда — скорее роскошь, прихоть избалованного ребенка. Остается только Плиниевое *nihil desperare, nulli rei fidei*, — «ни от чего не отчаиваться (ведь отчаяние — отчаяния, расплата за его непомерность) и ничему не верить»: «останься тверд, спокоен и утрюм» и, не думая о плодах дела, делай то, что должно делать. А когда порой убеждаешься, что ты — не один, что и другие это сознают и так же поступают — и как-то живут, тогда (слегка варьируя Тютчева) :

Нам на душу отрадное дохнет,
Надежды луч обвеет и обнимет,
И страшный груз минутно приподымет.

Так что в каком-то смысле Надежда (или хотя бы ее "луч") действительно почти "всегда с нами".

ПАРАФРАЗ ИЗ ЮВЕНАЛА



О *негодные* времена «негодование творит стих» (Ювенал). И не только стих, но и истину: *fecit indignatio versum* и *fecit indignatio veritam*.

В *негодяйские* времена без негодования нет ни одержимого Словом поэта, ни одержимого Правдой праведника или Истиной — мудреца.

Все по той же причине: «Источник великих мыслей — сердце, а не голова» (В. Гюго).



ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА

В математике есть понятие «порядка», значения числа — однозначные, двузначные, трехзначные и т. д. Математический "порядок" чисел — десятичный, — что вытекает из принятой десятичной системы. Но в нашей речи господствует другой порядок обозначения — в его основе тысяча, а не десяток: единицы, тысячи, миллионы, миллиарды и т. д. (десятки и сотни играют вспомогательную роль в пределах каждого порядка). Так или иначе порядок — это *степень* числа, «качество количества».

По-видимому, человеческая личность есть «порядковое число» Человека. Человек — это "порядочное" животное. Личностей тоже всего одна на тысячу — и еще одна "антиличность". На тысячу людей лишь один человек — во всем (положительном) смысле слова, полноценная ("порядочная") «плюс единица». Но на тысячу людей также лишь

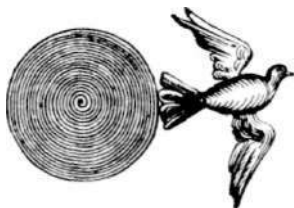
одна — во всем (отрицательном) смысле слова, демоническая, абсолютно непорядочная, подлинно низменная («минус единица») антиличность: безнадёжный Подонок. Святые — и подлинные злодеи, порядочные — и подлинно непорядочные Классы и антиклассы. Все остальные 998 особей группируются, как дроби, в большей или меньшей степени "мелочь" — по обе стороны нормы и анти-нормы, более или менее близкие к этическому «ничто», но с двумя знаками: положительно мелкие, малые, мало-годные — и отрицательно мелкие, на добро не годные, негодяи.

Смысл истории культуры, ее "прогресса" — в борьбе между Плюс Один и Минус Один за 998 дробей (точнее, за большую их часть), за спасение «малых сих», слабых, незнающих, мало-умных (и даже кое-кого из никуда не годных). И понятны слова Иисуса, особое его негодование против тех, кто совращает «малых сих».

Согласно гностике — спасутся немногие. Но «званных» много: 998 на 1000. Спасутся не все, но больше, *намного* больше, чем изначальные "единицы" — которые спасены *заведомо*. Спаситель пришел к *своим*, спасти *своих* (не знающих, мало знающих, но добрых, "душевных"), точнее, *полусвоих*, "смешанных"). В истории культуры "чистые", духовные (пневматики) воюют с "нечистыми", плотскими (соматиками), с бесноватыми за большинство человечества, в котором положитель-

ные дробы (и даже некоторые отрицательные) могут, должны стать положительными единицами: спастись.

Концепция эта свободна равно и от недостойного (кастового) элитаризма и от хамского (нигилистически омассовленного) эгалитаризма. А также от наивного прекраснодушия — и от неоправданной безнадежности. Или, если угодно, в ней истина того и другого.



ПАРАФРАЗ ИЗ БЛ. АВГУСТИНА

Я еще не любил, но уже любил Любовь. И, любя Любовь, искал, кого бы мне полюбить» (Бл. Августин — «Исповедь»).

1. Я долго искал. Я многих любил. Но ни в ком не нашел Ту — и терзался этим.

2. Так и не найдя Ее, я решил, что никогда не найду, что не в них, многих, причина, а лишь во мне самом, что я сам из тех — увы, многих, — кому не дано, кто не призван, "не избран".

3. И тогда я вернулся к *одной* из многих, духовно мне более близкой, чем другие. Избрал ее одну и в ней старался полюбить не ее самое, а себя, неутоленное давнее свое чаяние и нынешнее безумное отчаяние.

4. И я из всех сил старался для этой быть тем, кем, возможно, был бы для Той, если бы дано мне было Ее найти — и если бы был избран.

5. И, входя в роль, я играл ее всем сердцем,

артистически переживая, вживаясь в роль, как истинное чувство, а не роль. Как если б я не был я, а она была бы Той.

6. И с годами незаметно так вошел в роль, так с нею слился, что роль стала реальностью, правдой, неотличимым ее подобием.

7. И тогда я впервые ощутил — так мне, по крайней мере, уже казалось, кажется и теперь — блаженство истинной любви. Может быть, то была благодать, за муки ниспосланная мне Той, которую я любил тогда, «в те баснословные года», когда «я еще не любил, но уже любил Любовь и, любя Любовь, искал, кого бы мне полюбить».



ПАРАФРАЗ ИЗ АБЕЛЯРА

Sic et non. Да и нет. Это вытекает из "концептуализма" Абеляра. Истина, ее сущность, эссенция, выступает в экзистенции в индивидуально личной, а не в своей адекватной, универсально единой, форме: *non essentialiter, sed individualiter* (Абеляр) .

В онтологии и гносеологии этой концептуалистской логики есть и своя ступенчатая "космология".

1. «Да» — принцип первичного Бытия, неживой материи: закон притяжения, экстравертное тяготение к безлично единому Целому — *первый закон логики*. Но уже "непроницаемость" материи означает «нет», как «особенное» в самом бытии: некая пред-особь, пред-Я, потенциально заложенное еще в неживом, но извечном бытии.

2. «Нет» — принцип Жизни ("Души"). Интровертность особи, ее *не-делимость* (индивидуальность) : «Я» против «не-Я». Всякий другой — это

прежде всего «не-Я», всякий Другой — Недруг мой. Он никоим образом не должен войти в меня, если я это я и хочу сохраниться как я. Ср. иммунная система как неумолимый "цензор" и ее орган, зобная железа (тимус). «Нет» — это в любом споре упрямая детская реакция на истину, реакция инфантильной "недоличности" как псевдосамостоятельность самости. Социальная стадность — тоже «нет» по отношению ко всему другому из Другого Стада — и ко всякому оригинальному Я. *Нет* — это существо несвободной, доличностной Воли. Нет — интровертный и самозащитный голос недуховной (звериной) Жизни: *второй закон логики*.

3. «И да и нет» (Sic et non) — эссенциальный принцип Духа в экзистенциальной Личности: *третий закон логики* (диалектической). *Да*, ибо личность есть Лицо Целого, а не только индивидуальная особь. Но как ответственное *отстаивание* Истины, интереса Целого, личность — также Нет упрямому "большинству", даже Нет "против всех": «да» как «нет» — неразумной косности жизни во имя самой Жизни. Sic et non — принцип беспристрастия, справедливости, правды, без чего нет истины. Именно моему «я» жизненно важно, *надо* стать на точку зрения Другого, чтобы понять себя как Я — и понять Другого как другое Я, в каком-то смысле тоже истинное. Здесь у Абельера в зародыше весь "перспективизм" Лейбница, ибо Истина — это круглый бесконечногранник, и каждому «я»

по-настоящему доступна только *одна* грань. Каждый — "прав по-своему". И это — часто субстанциональная (эссенциальная), а не только индивидуальная (экзистенциальная) работа Каждого.

Притча о раввине. К раввину как третейскому судье приходят не поладившие два дельца. Внимательно выслушав первого, раввин говорит: «Сын мой, ты прав». Тот уходит, вполне удовлетворенный. Тогда второй излагает дело со своей точки зрения. Раввин, внимательно выслушав его, говорит: «Мой сын, ты тоже прав». Тот уходит, тоже вполне довольный. Присутствующая при этом жена раввина недоумевает: «Раби Моше, как же это можно?! Одному ты сказал, что он прав, и другому, что он тоже прав». «Знаешь, Сарра, — отвечает, подумав, раввин, — по-видимому, ты тоже права». — Диалектика, но не по Гегелю, монисту и панлогисту, а в более скромной и "открытой" — в *более личной* форме.

В концептуализме Абеяра, между прочим, заложено великое решение основного вопроса философии у Спинозы. Ибо оба атрибута Абсолюта, как ни противоположны, онтологически равно истинны. Здесь и принцип логической ("абсолютной", *постигающей*, а не только информативно *повествующей*) истории философии Гегеля («все философы были правы»).

Ср. также диалог у Достоевского, где одна сторона "понимает" другую, далеко не соглашаясь

с нею: Христос и Великий Инквизитор, Иван и Алеша, Раскольников и Соня. Взаимопритяжение «да» и «нет» в духовном споре. Человеческий дух в *третьем законе логики* — это все же скорее некое «да» в самом «нет». Ибо только абсолютный дух, Логос, знает абсолютное «да» и имеет полное право на *монолог*. Нам же, конечным личностям, дан только «диалог»: «логос» в виде «диа», «раз» в форме «два» — *раз*-двоение единого.



ПАРАФРАЗ ИЗ ДЖЕЛАЛЬЭДДИНА РУМИ

В поэзии Джелальэддина Руми — персидской вершине мировой мистической лирики, — а именно в **его** книге притч «Месневи», есть такая притча (в пересказе я вынужден несколько русифицировать). Учитель объясняет ученикам грамматическую категорию объекта (дополнения), винительного падежа. «Зейд убил Амра». "Зейд" — подлежащее (субъект), "убил" — сказуемое (предикат), "Амра" — дополнение (объект) в форме винительного падежа.

Ученик. А почему Зейд убил Амра?

Учитель. Это неважно, я лишь привел пример винительного падежа.

Ученик. А как Зейд убил Амра? Застрелил? Задушил? Зарезал?

Учитель. Говорю тебе, это не имеет значения. Это грамматический пример. Важно, что "Амра" стоит в винительном падеже.

Ученик. Прости, учитель, но очень интересно знать — а Зейда потом судили за то, что он убил Амра? И т. д.

В этой притче вся трагикомедия (порой просто фарс) современного "соборного" религиозного сознания. История веры — величайшее и необратимое расхождение двух сторон угла: расхождение в

самом существовании веры и ее языка. Общего языка нет уже целые тысячелетия. Не может быть общего языка между народным религиозным сознанием, наивно эмпирическим, "фактическим", его детской «философией живого опыта» — и духовно развитым, культурным, *современно* верующим сознанием, для которого *alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis*, «все преходящее только подобье». Все слова религиозного языка ("Господь", "Отец небесный", "иже на небесах", "царство небесное", "ад", "рай", "спасение", "благодать", "награда", "наказание" и т. д. без конца — даже "молитва") — это антропоморфные слова-идолы (греч. "образы"), слова условные для передачи потустороннего, неизреченного, невыразимого: слова как «формы» (в аристотелевском смысле: эйдосы, идеи), формы Невыразимого Слова. Для *современно* верующего сознания церковное соборное богослужение — сплошная профанация, наивное кощунство (например, причастие, где богоеды едят, как древние язычники, действительное — на чем настаивает церковь! — тело Бога и пьют Его кровь), кощунство, в котором церковь — и прежде всего церковь христианская, высочайшая форма соборной религиозности — играет, прямо скажем, незавидную, недостойную роль.

То, что христианская церковь, распространяясь по земле, попыталась поднять языческие народы древности из архаического состояния *магической*, наивно чувственной, веры натуральных рели-

гий на высочайшую ступень собственно духовной веры Нового Завета — скачком, минуя иудаистическую (и мусульманскую) ступень единобожия, как-никак первую спиритуалистическую форму веры в Бога Невидимого (подобно ленинскому "скачку", переходу к коммунизму, минуя капиталистические и даже более ранние стадии), имело роковые последствия для христианской веры и *духовного воспитания* верующего народа, который так и остался до наших дней во многом на доиудаистической, на египетской и ассиро-вавилонской, магической стадии веры. И надо отдать должное католичеству: просто-напросто *официально* изъяв из десяти заповедей вторую («Не сотвори себе кумира»), а для сохранения числа в Декалоге *разделив* (!) десятую заповедь на две, католическая церковь, по крайней мере, откровенно признала и узаконила свою *органическую связь с древним идолопоклонством*. Церковь заменила Бога-Духа, Отца Небесного, его родным во всех отношениях "кумом"*, "кумиром", наглядным истуканом — и на этом успокоилась. Зейд действительно убил Амра!

Вся история религиозного сознания человечества есть величайшая история материализованной метафоры, в которой для духовно верующего су-

* Слово "кум" происходит от праславянской формы, означающей со-отец, со-мать. Ср. народнолат. *commater* — "со-мать", "приемная мать". Есть церковнославянское слово "купетра" ("кум") из народнолатинского *compater* — "кум", "приемный отец", а также польское *kmotr* — "кум", чешское и польское *kmatre* — "кума".

существенна *мистическая* суть метафоры, а для сознания примитивного — ее *материальная* форма, фабульное "содержание". Общий язык тут заведомо невозможен. Некогда оправданная соборность веры и связанные с нею церковные формы богопочитания — это в наше время либо прекраснодушие, либо ханжество, либо — как в новейшем националистическом "почвенничестве", в частности, русском — еще хуже: идея Бога, "русского бога", «должность которого», как в свое время сострил Тютчев (в годы Крымской войны, когда в светских кругах все надежды возлагались — ничего больше не оставалось! — на "русского бога"), «отнюдь не синекура» и служит «русской идее». Соборный "русский бог" всегда должен выполнять для русского народа непосильную и, надо признать, действительно "нелегкую работу" — вытаскивать из болота бегемота. И, как в истории с библейским Валааом — но только наоборот! — желая благословить, прославить свой народ, нынешние "почвенники", того не сознавая, его унижают, расписываясь в заведомом и безнадёжном его несовершенном состоянии, в том, что он *вечный недоросль*.

Надо признать, национально соборного, православно церковного "русского бога" в наше время наиболее страстно отстаивают люди, может быть, и искренние патриоты, но *весьма* сомнительной — во многих отношениях — веры в Бога. Даже по части ее искренности.

ПАМЯТИ ИОАХИМА ФЛОРСКОГО

— С ПАРАФРАЗОМ ИЗ НИЛЬСА БОРА

Старый вопрос, давнее недоумение: как может Библия, Книга книг, Книга Завета Божьего, состоять из двух, во многом кардинально противоположных, книг, из Ветхого и Нового Завета? Как может Бог коренным образом изменить свое же Слово, свой Закон? Море крови пролилось из-за этого непостижимого противоречия.

Но со Словом Божьим, обращенным к человеку, по-видимому, повторилось то же, что с сотворением самого человека. Человек был вначале сотворен существом *единым* — как един сам Творец, по образу и подобию коего он создан. Оставляя в стороне фантастическую версию Первого Человека в Каббале, излюбленный многими мистиками миф о Первоадаме-Кадмоне (Пра-Адаме, будто бы сотворенном до шести дней творенья — из частей его тела якобы создан — созвучный поэтому человеку

— Космос), первый человек был сотворен — согласно Книге Бытия в шестой день творенья — *мужчиной*, но без пола: до грехопадения вопрос о размножении еще не стоял и не мог стоять, раз речь шла о невинном, как ангелы, и бессмертном существе. Не андрогином, а *мужественным* существом — по образу и подобию Бога-Отца. Но затем Творец, так сказать, пересмотрел свое творенье: Творческий Ум Божий, совершенствуя (*hornbille dictu !*), *ревизовал* свой замысел. И Творец сказал: «Нехорошо человеку быть полностью (как Я) единым; сотворим из него же самого вторую — пусть не столь же строгую и справедливую, но во многом лучшую, ибо *любящую* и преданную — дополняющую его половину». Так была создана Ева, родная «мать всего живого».

То же произошло со Словом Божьим. Ветхозаветному человеку был дан единый, как сам Господь, Закон, вечный для Адама Завет Справедливости. Ничего нет выше справедливости (в ней, по Платону, синтез трех главных добродетелей), нет ничего глубже в природе Добра, чем Правда. Но «глубокая истина должна обладать тем свойством, что противоположная ей истина — тоже глубока» (принцип дополнительности Нильса Бора). Подобно двойной природе света, корпускулярной и волновой, в новейшей физике — причем оба аспекта равно верны и плодотворны, — Свет Божьего Завета требует два противоположных и взаимодопол-

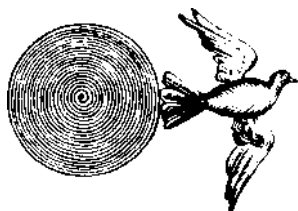
няющих понимания. Религию закона (справедливости), "мужественный" Ветхий Завет, дополняет религия любви, беззаветно преданной любви, "женственный" Новый Завет. Как женщина, созданная позднее (и во многом утонченнее), чем мужчина, Новый Завет духовно тоньше, чем Ветхий Завет. Нехорошо и Завету быть единым, как бы сказал Творец. «Сотворим же ему помощницу из его же, Ветхого Завета, ребра» («Книга Левита», гл. XIX, ст. 18: «Возлюби ближнего своего как самого себя», — суть всей Нагорной проповеди). Жертвенно преданная Любовь дополняет суровый, неподкупный Закон. Человек нуждается не только в экстравертной *беспристрастной* справедливости — для благополучия родового целого, — но и в интровертной *страстной, лично чуткой* и "взирающей" любви, дополняющей "не взирающую на лица" справедливость. «И прилепится Ветхое Слово к Новому, и да будут они как одно единое Божье Слово».

А дальше — известно: «Плодитесь и размножайтесь». Другими словами, кроме справедливости Ветхого Завета и любви Нового Завета — Третий Завет вечного *Богорождения*, личного Боготворчества: для зрелой, более личностной эры "детей", для третьей эры Святого Духа, для Нового времени, — Завет Параклета. Третий Завет возведен Иоахимом Флореким, Иоанном Крестителем всей мистики (этой новейшей и *высшей* ступени веры), — он же отец христианского гуманизма,

арелигиозного и антиклерикального, первоучитель всех святых еретиков, начиная с Амальрика Парижского, Франциска Ассизского и блаженного Мейстера Экхардта, — тайных противников любой безличной соборности, любой коллективной церкви, этой мачехи Вечно Цветущего (da Fiore), вечно плодоносящего Живого Слова Божьего, подменяемого в ортодоксальной церкви единой ("партийной") организацией и массовым, формальным обрядом. Ведь, по слову Спасителя, только «где двое, трое собрались во имя Мое (не больше?), там Я между вами». Третий завет новейшей эры Параклета, как видим, так же заложен (даже сформулирован!) во втором, в Благовести Нового, как Нагорная проповедь заложена в древнейшем (Ветхом) Завете. Слово Божие не только вечно передается (традицией) из поколения в поколение, но и *живет*, вечно *творится* — живой боговдохновенной личностью. «Царство Божие *внутри* нас», глас Божий, начиная с ветхозаветных пророков, лично обращен к избранному, звучит адекватно лишь в личной душе верующего, а затем, как эхо, *отдается* — всегда на свой, тоже личностный лад! — в созвучной душе верующего Другого. Не только Бог един, но и Его образ и подобие, личный дух человеческий, един и неповторим. «Если двое говорят одно, они не одно и то же говорят», — раз эта аксиома римского права верна в простом судопроизводстве, насколько же она важнее в куда более

тонкой сфере веры! Верно не только, что Бог сотворил человека как личность, но и то, что человеческая личность вечно творит заново Бога (отсюда два — а для тех, кто идет за Иоахимом, чуть ли не три! — завета), творит по личному образу своему и подобию: вечно *приближаясь* к Нему, творя живой образ Бога — в меру и в духе творческих своих сил.

Ни один завет Божий — вечный по самой своей природе — при этом не отменяется. «Земля и небо прейдут, но Слово Божие пребудет вечно». Третий завет Святого Духа, завет Живого Боготворчества, ни в коей мере не отменяет, не умаляет заветы Справедливости и Любви, заветы Отца и Сына.



ПАРАФРАЗ НА ТЕМУ ТРАГИЧЕСКОГО

У ШЕКСПИРА

— ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЗРИТЕЛЯ

1. Существо трагического в человеческой судьбе (а тем самым трагического как такового, ибо трагична *только* судьба человеческая) — можно выразить в трех словах. Трагедия человека в том, что *человек — не бог*. (Между прочим, отсюда вытекает, что трагическое вечно, ибо человек, конечно, никогда не будет богом). Трагическое — это некий высшего порядка "комплекс неполноценности", межеумочность человека, рассматриваемого в аспекте духовной его природы, как сына Божьего и подобия Его Духа.

2. Человек создан по образу и подобию Вечного и Всесовершенного — разумным, нравственным,

свободным, творческим существом. И вместе с тем человек неразумен, зол, поработен, бессилен, — отдан в жертву Времени. В его груди — две души. Он не может, он не должен сказать мгновению "стой" — хотя *настоящая* жизнь (жизнь "божески всемирная", которой он, человек, лишь временно "причастен") — «как океан безбрежный, вся в *настоящем* разлита». Его "жизнь в себе" может раскрываться, открываться миру лишь во времени, как жизнь "для будущего", — невыносимая, враждебная самому Духу Жизни, рабская "жизнь для чего-то, для кого-то, для когда-то" — вместо того, чтобы быть (как в творениях искусства и во всяком духовном, божественном творчестве) *настоящей* "жизнью и для себя и для всех".

3. Человек *временами* — как бы бог. Он тогда подобен шекспировскому Кориолану: «Дайте ему бессмертие и трон на небе — и будет настоящим богом». Но он — бог лишь на одно (творческое) мгновение. И даже оно, это мгновение, не охватывает всей его короткой жизни. Оно — *момент* не вечной, а только *схваченной в плане вечности*, *sub specie aeternitatis*, жизни. Жизнь человеческая — трагична, и трагична только его жизнь, как жизнь Человека, когда он, человек, рвется — и почему-то не может — стать Человеком, собою — прожить свою жизнь как Человек («во всем смысле слова»).

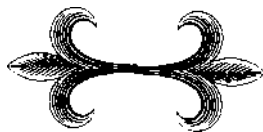
4. Суть трагического дана в начале Книги Бы-

тия (*бытия — прежде всего человеческого*). «И будут они (люди) как боги» — знающие добро и зло. И дело вовсе не в том, что, вкусив от древа познания, Адам был лишен плодов древа вечной жизни, лишен бессмертия. Изгнание человека из рая — это его обреченность впредь на полу-знание, поло-умие, полубожественность, — на полдороге к Богу, между Богом и тварью. Трагедия человека — в вечном *убожестве* человеческом: у Бога, около Бога, любимый сын Бога, а все же — не бог. Трагедия в том, что он создан лишь *по образу* (Божьему), что его бытие — *образное*, как бы бытие, что его "жизнь это сон", "жизнь — театр". И потому-то трагедия — это *высший вид* театрального искусства, даже искусства в целом как *образного* сознания, *образного самосознания*: осознания самого высшего и патетического в человеческой жизни.

5. Иначе говоря, подлинная трагедия человека не в том, что он смертен. И не в том, что он страдает, не в том, что его свои же распинают за то, что он — сын Человеческий, и не в том, что он умирает, распятый на кресте жизни. Даже не в том, что, распинаемый, он никогда не воскреснет, а сойдет в ничто, что царство его не от мира сего, как и не от мира того, что он царь тварей — и только. Существо трагического не в смерти, а в жизни человеческой. И будь человек — всегда Человек, живи он всю короткую свою жизнь жизнью Человека, сама Смерть не была бы ему так страшна, и самим ангелам не

позавидовал бы он. Умирал бы блаженно, как библейские патриархи: встав из-за стола жизни, «сыт годами» — дабы «приложиться к предкам своим», как Личность: *лицом* к своему *роду*. Трагическое лишь в том, что жил-был — и как бы не жил и не был. В обреченности его, живого, духовного, его, подобия Божества — на ничто, ничтожество.

6. В трагическом дух человеческий кричит, что он — *"жив дух"*. А смерть к нему, полумертвому, приходит скорее как облегчение от муки, конец муке — недостойного прозябания. Смерть приходит, как проходит его жизнь, по Блоку: «не зная истребления, — *так*, только замедляя шаг». Полублаженный конец полужизни, *как-бы* -жизни.



ПАРАФРАЗ ИЗ ЯКОВА БЕМЕ, ИЛИ ГНОСЕОЛОГИЯ ЗЛА

Банальная истина гласит: все зло от корысти, от себялюбия. Ходячая эта истина — истина зла *ходячего*, распространенного, массовидного. Не высшего, глубочайшего, не чудовищного, сатанинского Зла.

Другими словами, эта истина не только лишена основания (иначе она не была бы столь "ходячей", распространенной), но ее ограниченность как раз в том, что она не идет дальше *основания*. Ведь глубочайшие и высочайшие вещи — потому они и столь глубоки, высоки — корнями уходят куда-то очень глубоко и поднимаются очень высоко, куда глубже и выше, чем себялюбие, эгоизм, эти *естественные*, природные, как сам инстинкт самосохранения, основания самой Жизни. Что может быть

чудовищного в том, что человек *любит* себя, *своих* детей, *свою* семью, город, родину — и только их. Маленький человек любит малое. А как же иначе? И что чудовищного в "корысти", в привязанности к *своему* корыту, в котором такой вкусный и полезный корм? Ничего чудовищного *природная* (животная) любовь *породить* не может. Ничего *очень* низменного, *глубоко* порочного, *страшного* — для жизни.

Материалистическая этика (а также соответственная социология, экономика, культурология — например, марксистская), конечно, очень *примитивна*, когда сводит все к "разумному эгоизму" (в индивидуальном — или классовом — смысле), весьма *тривиальна*. Но она достаточно *основательна* как *арифметика* человеческой жизни, примитивная начальная школа, *тривиум*, — не дошедший даже до квадривиума, до полной средней школы, до аттестата зрелости в сфере знания. Этика (политика, идеология) эгоизма, начиная с Гоббса, многое действительно объяснила в ходячем, массовидном, "типическом" сознании, сводя все к личной *корысти*, но она не идет дальше "коры" вещей. Даже в объяснении *души* человеческой не идет *глубже* «коры головного мозга» (например, у Павлова, который, претендуя на научную психологию, дальше физиологии не пошел, заведомо отвергнув принципиальное различие между собакой и человеком, — так и не добрался до конца дней своих

до самого мозга) . А в духовном дело не сводится даже к мозгу, его физиологии и механике. Дух не сводится даже к *душе* (чего не понял современник Павлова Фрейд).

Нет нужды отвергать *арифметические* истины, *универсальные* по самой (арифметической) своей природе истины. Их недостаточность — как раз в их *широте*, плоской универсальности, в их отвлеченности от глубоких и высоких уровней реального. Тривиальные истины оправданы только когда *служат* (технически, как собаки или механизмы) более высоким истинам — в частности, добываясь порой даже до "оснований" — дальше идти им, однако, не дано.

Зло, как и его антипод Добро, относятся не к физической и даже не к биологической сфере реальности, а к духовной (к морали), собственно человеческой, к сфере *свободы*. Категория «основания» (то есть необходимости, детерминизма) здесь, строго говоря, не вполне применима: выходя за всякие основания, «Дух веет, где хочет». В том числе и за такие основания, как личный интерес, выгода, самосохранение. И это равно относится к Духу — и к Антидуху. Подлинное зло — чудовищно: того же порядка, что и «чудо», выход из закономерности. Подлинное зло всегда "странно", непонятно — или *не до конца* понятно. Оно так же поражает нас, так же вечно "открыто", как и подлинное добро. И только поэтому Зло "пленяет"

человеческие сердца, захватывает в плен даже добрых, благородных, которые, заблуждаясь, не понимая его природы, принимают зло за добро.

Высшее зло — бесосновно, бездонно, как его антипод Добро. В частности, оно тоже на свой лад бескорыстно, самоотверженно. Выдающиеся бандиты, великие подонки обнаруживают не меньше бесстрашия, самоотверженности, нежели подвижники, святые. И также поразительное "жертвенное" упорство — готовность жертвовать собой "ради общего дела", многократно повторять свое дело. Террористы наших дней (как и прошлого) покоряют сердца "великодушием" — на сатанинский лад. Для многих (даже их принципам несочувствующих) они — те же мученики первых веков христианства. Подлинное Зло, как и Добро, — предельно, коренится не в Жизни, а в Бездне. А Бездна, как учил Яков Беме, — это безличное Божество, которое древнее самого Бога, Личного Бога-Творца, и породило Его.

В начале ветхозаветной книги «Берешит» (книги «Бытия») — в конце второго стиха «Земля же была безвидна и пуста, и Тьма над Бездной», перед стихом третьим «И сказал Бог: Да будет свет» — сказано (*потрясающе* сказано!): «И Дух Божий носился над водою». "Носился" — это в синодальном, очень бледном и невыразительном переводе ивритского "мерахефет", которое означает: "дрожал", "трепетал", "порхал", "парил" — а также

"вита́л"* . Почему Дух Божий "дрожал", "трепетал", — порхая над Бездной, как *самка-птица*** над гнездом с птенцами, к которому уже подобрался хищник? Потому что *рядом с Духом Божьим*, как его великая тень, уже "парил" — отражаясь в той же Бездне, пронизывая ее насквозь — тоже "вита́л" Дух Тьмы, сумрачный Люцифер, Ангел Утренней Зари: порожденный Бездной *еще до дней творенья*. И Творец это *сознавал* — еще *перед тем*, как сказал первое творческое Слово.

Высшее — или, что то же, беспредельно низшее, чудовищно низменное — Зло так же безосновно, бескорыстно, самозабвенно, как Добро. В том-то и сила Антисилы. Потому-то Зло не только опирается на своих, на родственных ему злых, но часто увлекает, ослепляя, благородных, добрых. *Формально* между Злом и Добром нет различия. *Равно пафосные*, противоположны они — что выясняется только в конечном счете — лишь в *существе* и плодах своего пафоса. Познать их можно только по делам — и по стилю дел («По делам познаете их»). А это, увы, не так просто. Так легко принять одно за другое!

* Трехсогласный корень древнееврейского "мерахефет" это «рхф». Рехаф — дрожь, трепет, порхание, парение; лирхоф — дрожать, трепетать; рихеф — порхать, парить. витать.

** Мерахефег — женское окончание глагола, так как ивритское слово 1'уах ("Дух») женского рода-

Как глухо ("мистически") свидетельствует, таким образом, Книга Бытия, «в начале (еще до Слова!) была величайшая Тревога». Тревога древнее первого Слова. Великая Тревога Божия предшествовала Его великой Отваге (оба русские эти слова — одного корня, две родные сестры). И беда творческому слову, глубокому решению, великому историческому делу, если ему не предшествовала, если его не сопровождает — на протяжении самого дела — столь же глубокая и великая тревога. В наше время — как никогда тревожное, — когда человечество (впервые в истории!) *ступило над бездной*, помнить об этом важнее всего!



ПАМЯТИ ЛАРОШФУКО

Начало философии, «первый шаг к философии есть удивление»: удивление — мать философии. *Конец философии* (в частности, в истории античной философии) — это стоическое *nil admirari*, «ничему не удивляться». Или, по Ларошфуко: «Остается только одному удивляться — нашей способности еще удивляться». Но, как бы этому ни удивлялся герцог Ларошфуко, — пока я живу, я удивляюсь.

Когда же и такое удивление — последнее, дозволенное даже по Ларошфуко — исчерпано, наступает духовная смерть. История духа завершила бег свой. В начале еще «Наш бог — бег», но вскоре уже: «Наш бог — бек». Вместо мысли, духа — юбилеи и юбилейные славословия. Вместо истории как начала — история Начальников. Да еще — смеха ради! — анекдоты, всякие «истории с начальниками», при их жизни и посмертные.

ТРИ ПАРАФРАЗА ИЗ СПИНОЗЫ

Парафраз первый — метафизический

«Deus sive Natura». «Бог или Природа».

Все принципы, как *изначальные* (первоначальные) истины, и как *финальные* (последние) истины, суть одновременно и тавтологии ($A = A$) и оксюмороны ($A = \text{non}A$). По отношению "к себе" (внутренне) — тавтология, по отношению "к другому" (внешне) — оксюморон. Они *становятся* собой: "овнутряются", — и тут же *перерастают* себя, "объективируются".

Иначе говоря, они *становятся* собой — в конце "дней *самотворенья*". Они — динамические, становящиеся "степени себя", они в движении к полноте, "законченности себя". Дух, свобода, личность — в становлении. Бог — и Природа, свобода — и необходимость, личность (лицо Целого) — и человечество (Целое). В человеке дух есть степень, свобода есть степень, личность есть степень. Человек,

его природа, есть степень приближения к себе как образу и подобию «Бога или Природы».

По сути, рационалист Спиноза — это статический (без "истории") потенциальный Гегель, а панлогист Гегель — динамический (сверхрационалистический) реализованный Спиноза.

Ходячий упрек философии Спинозы в том, что его Субстанции ("иудаистически" монистической) не хватает "личности" (христианского Лица Троицы) — несостоятелен, если человек как личность есть образ и подобие (*малое, ограниченное подобие!*) *сверхличностного* "Бога или Природы". По сравнению с новейшим философским персонализмом, Спиноза мудро скромнен — как Сократ. Он не кощунствует, не уверяет, как самоуверенные философы и присяжные церковные проповедники, что абсолютно постиг Абсолют, что *знает* все Его ходы и выходы — во *всех* Его атрибутах. Он не ограничивает *безграничного* Бога специфически человеческой категорией личности, третьей, после Материи и Жизни, Духовной ступенью реальности.

Парафраз второй — культурологический

«Добродетель (благо) не нуждается в награде (блаженстве), ибо она сама есть блаженство».

Насколько эта теорема «Этики» Спинозы выше этики Канта, тех страниц «Критики практического разума», в которых бессмертие души доказы-

вается тем, что здесь, на земле добродетель часто не награждена, а стало быть, — ибо Бог справедлив! — нас ждет награда посмертная! Для такого великого ума, как Кант, рассуждение просто удивительное по убожеству. Во-первых, *недостойное* ни Бога (Бога-Отца, который здесь выступает всего лишь как господь, справедливый фараон, земной господин, вселенский хозяин), ни человека, сына Божьего, который здесь — только поденщик, наемный слуга, а не сын Божий, созданный «дабы возделывать *его* (и Отца — и сына!) сад», их *общий* сад. Во-вторых, логика этого "практического разума" — *непрактична*, ибо слишком меркантильна, а значит, бездуховна.

Она несостоятельна прежде всего в духовном, собственно человеческом, творчестве. Вспомним стихи Пушкина, написанные по окончании «Евгения Онегина»: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?» Ответ дан в форме вопроса: «Или, свой подвиг свершив, я стою, как *поденщик* ненужный, плату приявший свою, чуждый работе другой? Или жаль мне *труда...*» Точное, как всегда у Пушкина, слово "подвиг" показывает, что для поэта между художественным трудом и нравственным подвигом ("добродетелью") нет коренного различия. Творческий труд, как и добродетель, «не нуждается в награде блаженством, ибо он сам есть блаженство». Пора оставить пошлые сочувствия "непризнанным", современниками недооцененным, гениям

прошлого, труд которых, видите ли, не был достаточно оплачен, — "сочувствие" вполне понятное у купленных талантов наших дней, творчество которых достаточно щедро оплачивается (но даже в их устах — не вполне оправданное: ведь их писания порождены все же и дарованием — и стало быть, как-то вознаграждены еще *до гонорара*). Пора понять, что гении (и святые, которых народ мудро называет "блаженными") были счастливейшие люди человечества, познавшие величайшее для человека блаженство. Призвание — подлинная благодать. Блаженство даруется здесь, на земле, в момент самого труда. Творческий труд лишен того оттенка, который труд имел в рабские времена: "труд" как "страда", "страдание", "мука", — ср. «Повесть трудных лет» или у того же Пушкина: «Мой путь уныл, сулит мне *труд* и горе...» (Между прочим, современный массовый читатель вряд ли правильно понимает это слово, употребленное Пушкиным в древнем его значении, как синоним "горя". В наше время, Впрочем, достаточно сделано для того, чтобы советский читатель *правильно* понимал это пушкинское слово). Можно ли, отправляясь от бедного, злосчастного Моцарта, у которого коченели пальцы в нетопленной комнате, понять музыку Моцарта, в которой радость, счастье льются через край? Разумеется, гениям прошлого ничто человеческое не было чуждо, в том числе и горе, отчаяние, но не в моменты творчества и не в той мере, в какой

творчество заполняло их жизнь. Глубоко несчастен был не Моцарт, а Сальери, герой одной из «Маленьких трагедий», а именно — «трагедии маленького человека», лишенного творческой харизмы, — конечно, Сальери легендарный, пушкинский, а не автор талантливых опер, ораторий, кантат, не учитель Бетховена, Шуберта и Листа.

Не только в большом — духовном — творчестве, но и в любом деле, если человек на подлинно своем месте и трудится "по призванию", он счастлив, в меру своих сил «возделывая свой сад» — как заповедал Творец и показал автор «Кандида». Нельзя быть сытым послезавтрашним обедом. Категория *цели* (награды) — сама по себе — слишком *аскетична*, неблагодарна ни для счастья, ни для эффективности труда. Теорема Спинозы и здесь работает. Даже рабский или крепостной труд был производителен для своего времени и доставлял какое-то удовлетворение — в той мере, в какой раб, крепостной был на традиционно положенном (как он сам признавал) месте, пожиная плоды своего труда. Сам труд в какой-то степени «довлел дню его», раба, а не только конечная награда на исходе дня. Иначе рабская форма труда не могла бы длиться тысячелетия.

Здесь мы перешли к сфере хозяйственной деятельности, ее "добродетелей" и "наград", к культурологии жизни экономической. В наши дни уже мало спорят о философии, этике и политике марксизма: сама жизнь здесь сказала свое веское слово.

Но по-прежнему в глазах большинства — которое, впрочем, вряд ли когда и заглядывает в экономические труды Маркса — сохраняется авторитет Маркса как непревзойденного теоретика экономики классического капитализма (XIX века). Между тем, в «Капитале» прослежено все, кроме *героя* капиталистического общества, кроме самого капиталиста, "личности" капитала. Название точное: «Капитал», то есть важнейшее *условие* деятельности, *механика* предприятия, а не сам деятель, не предприниматель, не *творческий дух* предприятия. Дальше *общих* "правил игры" математический ум Маркса (который, по свидетельству Лафарга, считал математический метод идеалом для науки, в том числе и для общественных наук, в частности — для политической экономии) в «Капитале» не идет.

Это, примерно, как если бы в анализе замечательной партии шахматиста, комментатор ограничился бы общими правилами ("законами") шахматной игры, сравнительной "стоимостью" каждой фигуры, теорией дебютов и финалов и т. д., а личную изобретательность игрока, его "идеи" оставил бы в стороне, "научно" *отвлекаясь* от них. Для *материалиста* Маркса личность предпринимателя, "дух" капиталистического дела — не источник, а "эпифеномен" ("сопутствующее явление", пассивное "отражение") капиталистического дела. А между тем в "партии" капиталиста, как и в шахматной партии, интерес представляет и *решает* не общая "законо-

мерность", не "правила игры", ее условия, а в первую очередь *личная инициатива* предпринимателя, — та творческая *свобода*, которую предоставляют ему непреложные, что и говорить, детерминированные условия "игры".

Отвлекаясь от этого, нельзя понять ни историю шахматной игры (ее развития, достижения), в которой тысячелетиями оставались все те же правила, ни историю капитализма, его успехи — до наших дней. Конечно, играют, дабы выиграть, но тощая эта истина столько же дает для понимания шахматной партии, сколько "алчность" капиталиста (несомненная) для понимания "ходов" и результатов его деятельности. Между человеческой (творческой) игрой и человеческой (творческой) деятельностью в любой сфере нет кардинальной разницы в этом смысле. Довлеет деятельности предпринимателя (и капиталистической "добродетели" любостяжания) блаженство самой деятельности — в ее *общем настоящем*. Эмблема Мудрости — змея, которая держит во рту собственный хвост, — символ любого творческого дела: в себе - как в судьбе.

Все это, как говорится, *теория* — спорить об этом можно было бы до второго пришествия — если бы на помощь не пришла *история*. История больше всего любит "доказательства от противного" (когда уже становится противно, настолько все выяснила жизнь, "практика"). Всемирно историческое значение И. В. Сталина как экономиста в

том, что он блистательно опроверг экономическую теорию Маркса — доказательством от противоположного — и "противного". Какая там система непреложных правил для экономики в целом и на кой черт нужна творческая свобода для отдельных "предприимчивых личностей", если общество, слава Аллаху, уже перешло от "царства необходимости" в "царство свободы". Личное — лишнее. Кроме одной Личности Вождя, живого воплощения Свободного Общества. Вместо *политической экономики* проклятого прошлого, исчерпывающе изученной и заклеянной в «Капитале», отныне будет *экономическая полигика* свободного общества.

Это значит, во-первых, что вместо неразумно стихийного, *несвободного* капиталистического производства и непреложных законов системы — со всеми ее последствиями, периодическими кризисами, разорением мелких собственников, прогрессирующей нищетой рабочего класса и прочими бедами, — отныне начинается разумное и *свободное плановое* хозяйство, где все зависит от людей, т. е. от Вождя — внеположного хозяйству, но провозгласившего себя единственным творческим его *духом*. Великий Жеребец (англ. Stallion) ведет все стадо к стойлу (англ. stall), к жирному светлому будущему, где корму всем будет в досталь, "по потребностям", а каковы должны быть личные потребности, определять будет начальство. От стада требуется только послушание, единство по всей

стадной цепи, тождество духа. Из всех человеческих способностей и добродетелей ценность отныне представляет лишь одна добродетель — беспрекословное послушание начальству. Величайшая честь (добродетель) — готовность ради блага начальства пожертвовать, ежели требуется, и честью: основное непреложное *правило игры* (труда) и всей жизни.

Во-вторых, доход (зарплата), животные материальные условия деятельности оцениваются — но Марксу! — как единственный источник самой деятельности. Вместо человеческого удовлетворения от самого труда — внеположная труду конечная *награда* (не так, как у Спинозы и в проклятом капиталистическом хозяйстве). Кроме "зарплаты" — награды для большинства довольно скудной, — сложная иерархическая система "поощрений" — от дополнительных спецкормушек, материальных "благ" всякого рода, до орденов, медалей, званий, личных прославлений в печати, радио, телевидении: стимулирующие тщеславие человеко-винтиков *духовные заменители* — заменители духовного в бездуховной деятельности. "Поощрения" так же необходимы труду *тупому*, как специи для пресной и невкусной пищи. Но, оказывается, черт возьми, сколько ни награждай, ни поощряй, ни заостряй, раз нет награды з самом труде, в его настоящем (по Спинозе), звенья ("кадры"), зубчики системы все время *притупляются* — надо заново острить, пуще "поощрять". Или карать: наказание как "отрицательно внеполож-

нал награда", антинаграда, которая, однако, тоже оказывается не очень эффективной. *Ведь творит не страх, а дух.*

Больше того, поощрение, повышенное "кормление", оказывает на творческий труд людей даже губительное воздействие — в отличие от кормления скота. Когда до Сталина дошло, что в США уже почти готова атомная бомба, что СССР отстал, Вождь — по той же материалистической (механически внеположной) логике "поощрений" — решил повысить в несколько раз ставки ученым, имеющим звания и степени. Такая ли уж разница между свиньями и учеными! В результате в университеты и бесчисленные НИИ, налетев, как мухи на сладкое, хлынула всякая бездарь, набросившись на жирные места и оттеснив в науке подлинно творческие силы. Тощие коровы, как в фараоновом сне, сожрали тучных (тех, что перед этим духовно "жирели" от блаженного труда без дополнительных наград — жирели по природе, по Спинозе), — сожрали, возвещая грядущие года недородов и кар египетских, от коих до сих пор не спасают никакие жирные поощрения. «Зачем нам, ученым, столько платят?» — восклицал один из коллег профессора Воронеля, даровитый физик. — «Разве то, что мы теперь делаем, мы не делали бы, если б нам ничего не платили?!»

Этот отсталый ученый рассуждал — по Спинозе.

Легенда о величайшем дураке. У одного ученого брахмана была красивая, но не в меру разум-

ная дочь, которая заявила отцу, что выйдет замуж только за того, кто победит ее в ученом споре. Никому из многих домогавшихся ее руки это не удалось. И тогда рассерженный отец поклялся, что отдаст ее за самого глупого на земле и невежественного парня. Странствуя по белу свету в поисках величайшего в мире дурака, он однажды набрел в лесу на юнца, который, сидя на дереве, рубил сук, на котором сидел. Дорубив сук, он свалился на землю — и очень удивился: как же так? Ведь он крепко держался за сук! Брахман решил, что большего дурака ему не сыскать. Узнав от юноши, что они одной касты, брахман повел его в качестве жениха к своей дочери (в дальнейшем этот дурак стал Калидасой, величайшим поэтом Индии, — но это уже вторая половина остроумной легенды).

Да простит мне тень Калидасы, что эту "сучью" легенду о великом дураке я применил к величайшему в истории Сукиному Сыну, заканчивая несколько затянувшийся парафраз.

Парафраз третий — эротический

«Кто действительно любит Бога, не будет требовать, чтобы и Бог его любил».

Это формула всякой *сильной* любви — от самых примитивных, чувственных ее форм до самых высоких, духовных.

По поводу слов любящей Филины Вильгельму

Мейстеру, в нее не влюбленному: «Ты дурак и никогда не поумнеешь... Если я тебя люблю, тебе-то что до этого?» («Ученические годы», гл. 9), Гете впоследствии, в «Поэзии и Правде», заметил, что это вполне в духе слов Спинозы. То же скажет у Бизе Кармен.

В любви родительской — у животных, у людей — та же логика.

То же в любви к родине. В поэзии Т. Шевченко — во всей мировой лирике, кажется, нет другого примера такой всепоглощающей, пафосной роли этого мотива для творчества поэта в целом — есть три знаменитых стихотворения на тему любви к родине. Первое, хрестоматийное «Садок вишневый коло хати», это еще "чувственная" любовь к природе и быту родной страны — все стихотворение грамматически развивается в *природно этническом и настоящем* времени, а стало быть, на свой лад, со "взаимностью". Второе стихотворение, «Як умру, то поховайте», ставшее национальным гимном Украины, более "незаинтересовано" и дано в форме *исторического будущего* времени — с призывом к освободительному восстанию и с надеждой на благодарную память о нем, поэте («И меня в семье великой, в семье вольной, новой, не забудьте, помяните незлым, тихим словом»). В третьем стихотворении, в несравненном «Мені однаково», лирическая тема развивается в *биографически настоящем и прошлом*, с включением нацио-

нально исторического будущего времени. Ему, поэту, совершенно "все равно" — в отличие от «Садок вишневий»! — будет ли он жить на Украине или нет, а также — в отличие от «Як умру» — ему все равно, вспомнит ли кто-либо когда-либо о нем: «В неволе вырос меж чужими... в неволе, плачучи, умру, и все с собою заберу, малого следа не покину на нашей славной Украине, на нашей, не своей, земле». Мотив «меш однаково» дальше варьируется — почти без горечи — на все лады, чтобы внезапно перейти в страстное «та не однаково мені»: *небезразлична ему только будущая трагическая судьба родины, когда Украину злые и лукавые вначале усыпят, а потом — «в огне ее, окраденную» разбудят: «ох, неоднаково меш».*

За пять с небольшим веков те же три уровня, но в любви к Богу, изумительно раскрыл Мейстер Экхардт в проповеди «Сильна, как смерть, любовь». Вот сухая схема потрясающей логики этой проповеди. Смерть убивает человека трояко: она отымает у него, во-первых, все удовольствия чувственные, во-вторых, — все радости духовные, здесь, на земле, в-третьих, отымает блаженство царства небесного, в завоевании которого человек, когда его настигла смерть, уже не может продвигаться ни на шаг. — И, подобно Смерти, "убивает" человека Любовь. Она отымает у него все разнообразие чувственных радостей жизни, ради единственного наслаждения (также еще *чувственного*)

общения с любимым — *в настоящем*. Во-вторых, ради любимого любящий, конечно, откажется, если надо, от счастья близости с ним *в настоящем* — ради *духовного*, в мыслях, наслаждения с ним *в будущем*. И в-третьих, любовь, если она подлинная, *откажется и от блаженства в будущем* — ради самого любимого, ради его блага, которое заменяет любящему свое личное. — Но то же — в любви к Богу. Мы отказываемся от всех иных радостей ради одного блаженного общения с Ним в богослужении, общей молитве, добрых делах и т. д. — *в живом настоящем*. Но если Бог от нас требует, если царство его не от мира сего, мы — пребывая, например, в тюрьме, среди язычников — от всех этих радостей откажемся: ради грядущего общения с Ним в царстве небесном, ради блаженства нашего спасения *в будущем*. Но подлинной любви к Богу и этого мало. Из любви к Нему, ради Него мы должны быть готовы отказаться и от нашего спасения. Мне все равно, буду ли я в царстве небесном или нет. Ничего мне от Него не надо, кроме того, что Ему, Любимому, от меня надо. И только в этой высшей любви, *разбивающей себялюбивое* наше сердце, наше "я", в этой *Любви сильной, как Смерть*, мы впервые доподлинно выходим из себя, блаженно сливаемся с Ним — в *Unio mistica*, мистическом единстве.

От Мейстера Экхардта, Спинозы и Шевченко до Филины и Кармен — природа любви одна.

ПАРАФРАЗ ИЗ ШАРЛЯ ПЕРРО

Когда у древнего Доивана, доброго Доивана родился долгожданный сын Иван, отец на радостях устроил пир на весь мир и пригласил всех волшебниц, каких только мог разыскать в родной своей волости, дабы каждая одарила младенца.

Первая волшебница наградила будущего Ивана редкостным здоровьем, красотой и хорошим ростом. Вторая — подкупающей душевностью в общении и чувством дружбы. Третья — здравым смыслом и юмором. Четвертая — смекалкой, технической сметкой и хваткой, предсказав, что Иван будет на все руки мастер. Пятая — что горазд будет петь, плясать и играть на всех инструментах. Шестая — способностями ко многим наукам и искусствам.

Тут показалась на пороге хромоногая злая колдунья, которую не пригласили. Она затрясла

головой — больше от злости, нежели от старости, — и прошипела: «А вот больше тебе не расти, как лет до шашнадцати».

Все ужаснулись. Но из-за занавески показалась та самая седьмая добрая волшебница, которая спряталась, когда вошла злая колдунья, и громко сказала: «Успокойтесь, наш Иван не умрет. Правда, того, что сделала злая колдунья, я отменить не могу, но в шестнадцать лет Иван не умрет, а только больше не повзрослеет. Ивану расти лишь до шестнадцати, до степенности ему так и не дойти. Всегда будет под надзором бабушек и дядек — не то "Недорослем", не то вечным "Подростком"».



ПАМЯТИ ФАЛЬКОНЕ — С ПАРАФРАЗОМ

ИЗ ПУШКИНА

От Новикова, мирного масона и умеренного просветителя, и от Радищева, диссидента-радикала, вся история русской культуры — это (в двух вариантах) история вечно "беспочвенной" интеллигенции ("лишних людей"). А также вечно "почвенного" мещанства ("небокоптителей" и верно-подданных) — тоже в двух вариантах, но сословных: обломовско дворянском и купеческо крестьянском. А в целом — и в этом трагедия "внесловной" интеллигенции — история покорной и верноподданной нации на евразийской (полуевропейской) *почве*. Так — до наших дней. От Петра Великого до (менее великого) Петра Григоренко и присных.

Демииургом этой ситуации и ее "почвы" — судьбы, доли России в Новое время — был, как известно, царь Петр, который, любя свое отечество и

отечески жалея своих подданных, пожелал европеизировать народ свой — азиатски жестокими (в духе "почвы") ускоренными темпами, и для этого «Россию поднял на дыбы» — избрал максималистский (по-нашенскому — большевистский), чисто русский, подростково нетерпеливый ("тебефренический") путь развития. Каждый раз, когда мне приходит на ум великолепный пушкинский стих о «мощном властелине Судьбы», иже «Россию поднял на дыбы», по ассоциации возникает образ *пыт*ок, растягивания тела, "дыбы" (от древнерусского "дыбать" — *"прогрессивно* и *изо* всех сил, на кончиках пальцев вытягиваться вверх").

Вспоминается, как поразил меня при первом приезде в Ленинград фальконетовский всадник, во всей жуткой красе впервые представший в натуре. Передние ("передовые"!) ноги максималистски (большевистски) взметнувшиеся ввысь, высоко над родимой почвой, над исконной, темной русской "бездной" — и задние ("отсталые"!), упершиеся вместе с толстым народным задом в "почву". Между двумя парами ног *в безумном напряжении*, но все же покорное (верноподданное!) туловище послушного, верного коня. А на крупе (осью, *руководящей линией* *вверх* — между головой и мощным задом коня) фигура неумолимого Всадника, «властелина Судьбы», поднявшего Россию *на дыбу*.

Вся судьба России и трагедия ее культуры — в этой человеко-животной паре, в этом Кентавре.

ПАМЯТИ ШАМФОРА (ЕГО СМЕРТИ)

Свобода — это способность, личный дар, благодать свыше. Шамфор смертью своей доказал — в эпоху террора, в годы социального психоза, массовой несвободы, — что он, Шамфор, «рожден свободным»: последние его слова, когда его пытались — во второй раз — арестовать за инакомыслие. Знаменитый параграф «Декларации прав» *«Люди рождаются свободными»* надо уточнить, добавив: *или несвободными*. И люди это сами доказывают всей своей жизнью. А если надо — смертью.

Конечно, способность эта, как всякая, может культивироваться — или атрофироваться. Но из ничего — ничего не выйдет. "Свободных" (от рождения) не больше, чем высокоодаренных — математиков, музыкантов, поэтов («поэты рождаются»). И в этом истина горделивого заявления великого Эйлера, современника Шамфора: «То, что я

делаю сейчас, сидя за письменным столом и занимаясь своими вычислениями, я бы делал и в шкафу медведя».

Если бы тезис «Люди рождаются свободными» означал "все люди рождаются свободными", эта истина была бы столь же плодотворной, как щедринское «всякий да яст». Акцент, очевидно, на втором слове: «люди *рождаются* (или не рождаются) свободными». Свобода — это харизма: врожденное, а не приобретенное. Свобода не даруется правительством, начальством. Свободу *даровать* народу нельзя, народ сам — мучительно, постепенно — ее завоевывает: если он "от рождения" *свободный* народ, а не «немытая страна рабов, страна господ». Свобода национальная, как все врожденное, как способность ноги двигаться, тоже развивается — или атрофируется. Условия — *внеличные* условия для личности индивидуальной, как и национальной, — играют весьма важную роль, но всего лишь роль условия, предпосылки: не будь математики *до* Эйлера, не было бы и Эйлера, каким мы его знаем, — и только в этом "парадоксальность" его прекрасного заявления. В чем *исторический* смысл вечной истины «Декларации прав» — люди свободны от рождения? Она, во-первых, решительно отвергает феодальный предрассудок, будто некоторые люди свободны — *еще* до рождения: благодаря сословному положению. То есть, "люди *от рождения* свободны —

или (от рождения же) несвободны": элитарность человеческой духовной личности в отличие от универсальности человеческой (природной) особи, ее "особенности", физического своеобразия индивида. Свободу нельзя ни дарить, ни отнять, как нельзя подарить человеку, отнять у человека математические или иные способности. «Люди свободны от рождения» означает, что личность *звана* ("свыше" — от Бога, "от Природы") быть свободной. Это главное *призвание* личности. Личность не прикреплена ни к какому — социальному, профессиональному или культурному — кругу, а сама его находит. Личность нельзя духовно закрепить, внешне (со стороны) определить, заведомо поставить ей предел.

Во-вторых, личность *иррациональна*, она "открыта" в своих возможностях, она сама не знает своего предела, а другие, общество, государство, начальство, это знают и того меньше. *Все* люди должны быть формально (внешне: юридически, экономически и т. д.) освобождены, для того, чтобы впервые ясно стало, кто *родился* свободным; все должны быть *равны* социально (и в этом великая истина социализма!), для того, чтобы выступила *неровность* культурная, личностная — от рождения. Кто высок, а кто низок ростом, и в *какой степени*, выясняется только, когда все стоят рядом — на ровном полу. *Свобода* личности есть *степень* (ее высоты).

Долг личности — а свобода всегда есть в первую очередь долг (перед собой, перед другими) — чтобы (социально) все были свободны. И это великий нравственный и культурный долг человека. В Махаяне (в отличие от Хинаяны) Бодисатва сам не хочет — и нравственно не может, не должен — отойти в Нирвану: один «выплыть на тот берег», когда еще не все спасены, не все «вышли из реки» (Страдания), из Сансары. В противном случае он — не Бодисатва, ибо не со-страдает вместе со всеми. Один — не Абсолют. Одному не дано абсолютно освободиться, полностью спастись. Разве только — в смерти: в том, что дано и одному. Как доказал Шамфор.



ПАРАФРАЗ ИЗ ФОНВИЗИНА

Человек, национальная его принадлежность — и его государство.

Отношение русского человека к государству прекрасно раскрывается русским же языком. (Как-никак, национальный язык это беспристрастный "объективный дух" народа и, следовательно, достаточно авторитетный свидетель по столь щекотливому вопросу, как национальный характер). Люди по их национальной принадлежности — так же, как их отечество или страны, в которых они живут, — в русском языке всегда обозначаются именами существительными. Есть англичане, французы, греки, турки, алжирцы, индусы, китайцы, грузины, литовцы и т. д., — все это имена существительные. Более того, из названия национального государства нельзя еще вывести форму национального обозначения живущего в этом государ-

стве народа: во Франции живут французы, в Италии итальянцы, в Германии *немцы*, в Швеции шведы, в Дании *датчане*, но это всегда имена существительные. Если возникает новое государство, то для его жителей мы тут же легко находим имя существительное: пакистанец, бангладешец. Короче, по национальной принадлежности все люди — существительные. Исключение: русский, прилагательное от "Русь". Были попытки образовать существительное: "росс", "россиянин" — но тщетные.

Как тут не вспомнить сцену из «Недоросля» (действие IV, явление VIII), где Митрофанушка (хронологически *первый литературный герой* новой русской литературы) экзаменуется по грамматике.

Правдин (взяв книгу). Это грамматика. Что же вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна.

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь, котора дверь?

Правдин. Которая дверь? Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому, что она приложена к своему месту. Вон в чулане шеста неделя дверь стоит еще не налажена: так та покамест существительна.

ПАМЯТИ ЛЕРМОНТОВА

Среди русских поэтов классического периода у автора «Демона» религиозные мотивы занимают наиболее значительное место. В лирике Лермонтова мы находим, пожалуй, все основные виды молитвы. Самая древняя форма молитвы (откуда и слово), *молитва-прошение* — за другого, за любимого («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»), и *молитва-благодарение* за себя, но в глубоко горестной, почти саркастической, форме («За все, за все Тебя благодарю я»). *Молитва-благословение* «Когда волнуется желтеющая нива» — стыдливо прикрытая чередой традиционных "пейзажей" — вплоть до последней строчки, даже до последнего слова, где впервые открывается молитвенная суть стихотворения («И в небесах я вижу Бога»). Близка к этому типу "балладная" форма «По небу полуночи ангел летел» (точнее,

первая половина стихотворения).

Но всего изумительнее в религиозной поэзии Лермонтова, всего показательнее для его веры — это «В минуту жизни трудную». Речь идет о самой любимой "чудной" молитве, только к ней поэт обращается в наиболее тяжелые минуты, только ее он твердит. Однако мы так и не знаем ее содержания, об этом ни слова. Речь идет лишь о действии молитвы («С души, как бремя, скатится, сомненья далеко — и верится, и плачется, и так легко, легко»). Сравним это стихотворение с любимой молитвой Пушкина, которая, по признанию поэта, больше всех иных его «умиляет»: «Отцы пустыньники и жены непорочны». У Пушкина все ясно, вторая половина стихотворения — это переложение в стихи известной церковной молитвы, «той, которую священник повторяет во дни печальные Великого поста».

С давних пор у любящих стихи школьников идет спор о том, "кто первый", "кто больше" — Пушкин или Лермонтов. Впрочем, и в наше время этот спор продолжается — и не только среди школьников: Бунин и Адамович настаивали на первенстве Лермонтова. Не будем решать этот поистине школьный вопрос, но одно несомненно: Пушкин артистичнее, универсальнее, Пушкин — это само искусство, Лермонтов духовнее, персональнее. Не касаясь другого спорного вопроса, о религиозности Пушкина, можно только сказать,

что пушкинский «Пророк» (в котором, в отличие от лермонтовского «Пророка»! — переложены в стихи библейские тексты) не больше убеждает нас в ветхозаветности пушкинской веры в Бога, чем «Подражания Корану» в его мусульманстве, а мифологические (по своей свежести единственные во всей русской поэзии) стихи, вроде «Плещут волны Флегетона», — в его эллинском язычестве.

Артистизм Пушкина во всем — в том числе и в религиозной теме — всевременный, всечеловеческий. Вера Лермонтова в таком стихотворении, как «В минуту жизни трудную», глубоко *современна*: это *наша* вера, вера людей Нового времени. В ней речь идет только об одном, о том, что дает сама вера, сама молитва *непосредственно*, — как во всякой истинной любви (см. выше «Эротический парафраз» из Спинозы). От предмета любви ей не надо ничего, в ней нет даже его прославления, отдающего церковным, она вся личная, внутренняя, неизреченная. Таинственная и благодатная, как сам предмет веры.

Довлеет молитве сама молитва.



ПАМЯТИ КЬЕРКЕГОРА С ПАРАФРАЗОМ

ИЗ НИЦШЕ

Бога оскорбляют только те, *кто* в Него верят: тем, *как* в Него веруют, *как* распространяют, утверждают в сердцах других, веру в Него.

1. Бога не могут оскорбить ни атеисты, те, кто в Него не верят, ни те, кто равнодушны к вере. Вера есть выражение *силы* человеческого духа, а не «бессилия, беспомощности перед миром» — вопреки ходячему представлению. Нужна сила, большая сила, чтобы верить в Бога, *ощущать* Бога в мире, в *нашем* мире, из которого Бог, как будто, "уходит" или уже "ушел" (согласно Ницше). *Вера есть сила*, и прежде всего *творческая* — подобно самому Творцу, отражение творческого Его Духа. (Этой силой, как любой творческой способностью, нередко одарены и простые люди, "самоучки" веры, не обладающие ни специальными знаниями в

области веры, ни способностями, знаниями в других областях). Никакой творец — композитор, поэт, математик — не будет оскорблен, задет "слабыми", неодаренными, теми, кто немужествен, лишен чувства стиха, математических способностей, теми, кто не понимает, "не признает" его, творца, или равнодушен к его творчеству. Художника, творца любого рода, оскорбляют только поклонники его — те, кто громко "признают" его, верят в него, восхваляют его, *пошля* своим признанием, тем, за что и как восхваляют его. Неужели Бог ниже ("тщеславнее") человека?

2. Оскорбляют Бога-Отца, Творца, те, кто исповедуют и проповедуют бога награждающего (как хозяин батрака) и карающего (*вечными* муками в аду), бога-фараона — ненасытного, как земные деспоты, неутолимого в жажде восхвалений, славословий, те, кто, не довольствуясь церковными стенами, загрязняют эфир и всю духовную атмосферу Земли своей аллилуйщиной, полагая это делом богоугодным. Враги Бога — пошлые слуги Его. Те, кто подменили образ Господа-Отца недостойным даже человека образом вселенского Деспота-Хозяина.

3. Оскорбляют Бога, изгоняют из сердца современного человека образ Сына Божьего, образ пострадавшего за нас, распятого за нас Иисуса, те, кому меньше всего дела до наших страданий: сытые и улаженные, уже "спасенные" — они в этом

полностью уверены! — страданиями Назарянина, блаженно пользующиеся дивидендами от его мук. Благодействующие князья церкви, шах-ин-шахи веры и вся армия их помощников, царство которых и от мира сего и от мира того. По сравнению с ними, равнодушными к разлитому в мире злу и страданию, уютно укryвшимися в аллилуйшине обряда, умиляющимися благодостной гармонией музыки и сладостной красотой пения, посвященного мукам Распятого, по сравнению с этими бонзами и иже с ними, мирские *гонители* веры — *восстановители*, стимуляторы ее. Вся история христианства тому доказательство. Не преследования веры, а обмирщение ее (т. е. *отказ* от спасения мира, примирение церкви с миром) способствовало в прошлом распространению в мире неверия, временным успехам атеизма. В наше время преследование веры в тоталитарных странах, в странах атеистической религии, возродило — в лице узников совести, ее мучеников — подлинный героизм веры в Бога. Бог "уходит из мира" — из-за недостойных Его, примером личной жизни и формами служения, поклонения Ему оскорбляющих Его — Его в лице Сына Божьего, пострадавшего и поныне страдающего за нас.

4. Оскорбляют Бога, отымают от нас Утешителя, Параклета, Того, Кто, согласно прощальным обетам Иисуса (Евангелие от Иоанна, главы XIV, XV), должен явиться после Иисуса, — те, кто свои-

ми проповедями-"утешениями" возвращают нас к доевангельскому, доветхозаветному образу бога-фараона, карающего и награждающего, требующего от нас славословия и фимиама — ради нашего спасения, утешения. Святой Дух Утешитель не является, богоявления все реже и реже в мире («Бог уходит из мира») — из-за массовых, повседневных, ежечасных, все более умножающихся (между прочим, благодаря массовым средствам "информации"), унижающих веру форм "утешения", недостойных, несовместимых с современным уровнем сознания, а значит, и веры. Не могут нам нести утешения сытые и ублаженные, те, кто не страдают, не были травмированы страданиями других, никогда не знали ни сомнения, богоборчества, ни отчаяния, богопокинутости, которое извещал сам Иисус — перед тем, как отойти к Отцу. Не пройдя через предельные страдания, отчаяние нельзя прийти к состраданию, нести людям подлинное утешение. Друзья Иова не убедили его, не облегчили его мук, не принесли ему утешения — и Дух Божий «возгорелся гневом», осудив друзей Иова за казенное фараоново "утешение" невинно страдающему праведнику, который даже в своем отчаянии, даже в своем богоборчестве был ближе Богу, дороже Богу, нежели восхвалители и оправдатели Его.

5. Какие формы веры в Бога достойны в наши дни Бога? Рассудок, как известно, не может

постичь Бога, ввести в храм, в благодать веры. Но рассудок, низшая форма разума, — тоже от Бога! Рассудок может *подвести* к храму, помочь нам, ориентировать в *пути* к Богу — которого всегда надо искать, *лично* искать! Рассудок — *профан* (от лат. profanus — "непосвященный", "непросвещенный"), он всегда *pro fano*: "предхрамный", до входа в храм, на пути к нему. Истинный рассудок *помогает найти верный путь в храм*: опровергая тех, кто заведомо не верит в само существование храма, — и разоблачая фанатиков, неразумно верующих, непричастившихся, но полагающих, что они-то одни и причастились, пребывают в храме, тогда как они поклоняются недостойному кумиру. Рассудок учит нас *одному правилу* — правда, отрицательного порядка (и уже поэтому слишком общему, недостаточному), но немаловажному: *не может Бог быть ниже идеального человека. Недостойно приписывать Богу то, что недостойно даже человека. Бог выше всякой идеальной человеческой личности. Бог — Сверхличность мира, к Которому как Сверхразуму, Сверхдобру, Сверхвозвышенному Первоначалу приближается образ Бога, создаваемый человеком — на протяжении всей истории веры! Приближается в меру нашего разумения, развития нашего разума и нравственного сознания, в меру постижения себя и Божьего мира, все более расширяющегося перед разумом человека. В меру нашего (всегда ограниченного!) знания мира*

и добра, знания, все более *удаляющегося* от древнего, от прежнего, от вчерашнего знания мира и добра, а тем самым и от нашего *прошлого* образа Бога: уже недостойного ни Бога, ни самого человека, *современного* человека. Само наше отчаяние, духовный кризис, через который, по Кьеркегору, мы приходим к новой, более достойной, более высокой вере, есть следствие кризиса расхождения между новым уровнем знания и нравственного сознания — и прежней, не нашей, а унаследованной нами, традиционной формой веры.

Через тридцать три столетия после Синая и Моисеева закона, через стократно помноженный историей во времени путь земной жизни Иисуса, не пора ли *выйти из Египта* — распротиться с образом Господа, вселенского фараона?



ПАМЯТИ ДАРВИНА

Когда слушаешь, о чем люди в наше время говорят, о чем горячо спорят, чем увлечены умы, чем заполнены во всем мире газеты и журналы, о чем "вещают" органы массовой информации, радио, телевидение (реклама, фоторепортаж, хоккей, футбол, бокс, всякого рода сенсации, туризм, детективы, эстрада, "легкая музыка", "поп-музыка", "поп-арт" — всякого рода попкультура) — на фоне вплотную надвигающейся катастрофы (о которой, между прочим, тоже немало "вещают" и пишут — в порядке острых специй для привычной, а потому ставшей уже пресной, "информации" потребляющей, потребляющей и потреблядской культуры), — приходишь к твердому убеждению, что человек произошел не от питекантропа, не от обезьяны, а от страуса.

ПАРАФРАЗ ИЗ ЧЕХОВА



Ежедневно, ежечасно и ежеминутно, в мыслях, словах и делах, капля по капле выдавливать из себя грязного Homo Soveticus — политически, этически, интеллектуально, эстетически.

И если ты решил, что — *все*, ты уже чист, — значит, *ты уже не ощущаешь* — остаточную грязь. А это хуже всего.



ПАРАФРАЗ ИЗ А. ФРАНСА И ПАМЯТИ ПОЗДНЕГО В.В.РОЗАНОВА

«Если бы я был Богом, я дал бы в судьи человечеству Иронию и Жалость» (А. Франс).

"Ирония" — это, конечно, от французского ума. И — для французского народа Другому народу более подобает — Презрение. Мужское, беспристрастное, неподкупное, справедливое Презрение — и женская, сердобольная, беззаветная, безумная спасительная Жалость. Жалость позднего Розанова: «Ужасная жалость к этому несчастному народу, к этому уродцу народу, к этому котьке — слепому и глупому. Он сам не знает, до чего он презренен, до чего он есть просто последний вор и последний нищий. И эта последняя его мизерабельность, этот его "задний двор" истории проливает такую жалость к Лазарю, к Лазарю хвастунишке и тщеславцу, какой у Христа и у целого мира поистине не было к тому, Евангельскому, великоленному Лазарю. О, *тот* Лазарь сиял. Горит в раю и горел бы в аде. А в этом, моем ком-патриоте — одни вши... — И вот только эту "вошь преисподнюю" и люблю, люблю, рыдая об этой его окаянности» (В.В.Розанов — П.Б. Струве, февраль 1918).

Итак: Презрение — и безграничная самоотверженная Жалость.

ПАМЯТИ БЕРДЯЕВА

Является ли нация личностью? Это вопрос спорный — в истории мысли, в трактовке национального характера. Выдвигались серьезные доводы "за" (особенно националистами) и "против" (строгими персоналистами). Гегель в «Философии истории» исходит из положительного решения. Бердяев обычно склоняется, хотя и непоследовательно, скорее к отрицательному. Как обычно в больших спорах — палка о двух концах, и истина (сама "палка") требует некоего синтеза.

По сравнению с природным племенем (этносом), из которого она возникла, нация, во-первых, явление гораздо более позднее, зрелое — подобно личности в собственном смысле слова сравнительно с индивидом. Во-вторых, нация творится, *сам* о творится, национальный характер исторически меняется, солюменяется, хотя и в известных

— вернее, до конца неизвестных, неясных — рамках. В-третьих, нация более духовна, чем племя, и выступает носителем и более зрелым творцом *духовной* национальной культуры. В-четвертых, нация теснее и сложнее соотнесена с *другой* нацией, чем племя с соседним племенем; она и заимствует, "учится", подобно индивидуальной личности, у другой, и с полным правом также отстаивает свою самостоятельность — она трется о другие нации в некоей, более крупной региональной и культурной общности, шлифуя себя. Она, как личность, — особое неповторимое *лицо* (одно из лиц) этой межнациональной культурной общности; в конечном счете, — она «лицо (одно из лиц) человечества», которое не должно быть обезличено, вконец интегрировано, омассовлено — под нивелирующим влиянием "прогресса". В-пятых, в национальной религии ("национальном боге" как духе нации) сказывается более духовный характер веры национальной по сравнению с верой "натуральной", с природно объективными (а потому взаимно отождествляемыми) племенными богами — и большая духовная *ограниченность*, примитивность при сравнении со *всецеловеческими* (собственно личностными) высшими формами веры.

Ибо, по сравнению с индивидуальной личностью, нация — это *личность коллективная*, некий двусмысленный оксюморон. Но не столь механический коллектив, как технические, хозяйствен-

ные, общественные институты. А в общем, нация по сравнению с реальной индивидуальной личностью — до некоторой степени личность *метафорическая*.

Подобно химически сложному телу, молекуле, нация несводима к элементам, из которых возникла, под воздействием которых сформировалась, несводима к их свойствам, своеобразию, ее характер не сумма этих свойств. Нация, характер нации как личности, не сводится ни к единству расовому (все нации более или менее смешаны), ни к "земле", почве, климату, территории, природному фактору (территории то расширяются, то уменьшаются), ни к типу политической жизни (он кардинально меняется), ни к государственному или экономическому единству (многие нации веками его лишены), ни к религиозному, психологическому, даже языковому единству (нации иногда меняют свой язык). Примитивное сталинское определение нации как суммы признаков — курам насмех. Еврейский народ, утративший в диаспоре все эти — сами по себе существенные, но не решающие — "признаки" нации, народ, лишившийся государства, территории, расового, этнического, экономического и языкового единства, но сохранивший национальную свою религию, свою Библию, «как переносное отечество» (Г. Гейне), свой дух, *историческую память* о своем прошлом единстве — и в наше время *возрождающий* себя как

нацию во всех этих существенных признаках, народ самотворящий себя, как никакая другая нация, — доказал больше многих иных наций свою духовную реальность, а значит, личностный характер. Жизнь глухо-немо-слепой с детства Елены Келлер, ее великое торжество над ужасной своей судьбой — потрясающий триумф индивидуальной личности, триумф самотворения и духовной свободы. Всем нам, индивидам нормальным, далеко до нее как до человека, до *нормы* личности.

Нация — это прежде всего национальный дух. И только в этой мере — личность. Дух, между прочим, *помнит* о своем прошлом, помнит *сознательно* (в отличие от биологической "памяти" генов, их "души"), он *не повторяет* своего исторического прошлого, он творит себя. Нация не детерминирована — а только обусловлена в самотворении — своим прошлым. Если в исторически кризисном состоянии, на распутье, народ видит свое спасение всего лишь в *возвращении* к своему прошлому (политическому, религиозному, культурному), то постольку он доказывает не национальный, а полуплеменной, биологически индивидуальный (своеобразный), недостаточно духовный свой характер. Он тем самым заявляет, что у него *нет будущего* («У русской литературы нет другого будущего, кроме ее прошлого», — горестно восклицал Е. Замятин в кризисных 20-х годах). Другими словами, такой народ признает, что у него *нет сил*

стать нацией, творить себя, а значит — если действительно у него нет другого выхода, — что ему рано или поздно суждено раствориться в других нациях: племена, как известно, растворились или растворяются. На то, чтобы стать нациями, включиться в историю, творить свое настоящее и будущее, племенам не хватало, не хватает сил — не хватает "духа". В истории "все течет", болота высыхают.

Понять нацию как личность, признать ее личностью, значит исходить из характера *открытого*, незавершенного, несовершенного, сознающего свое несовершенство, но способного, *вечно* способного к новому, более достойному состоянию ("закрытым", "совершенным" характером обладают только животные - и доличностный человек-особь). «И враги человеку близкие его» — относится и к народам. Самые опасные враги народа — "близкие его", из него же самого вышедшие, искренне, но по-глупому любящие его, те, что препятствуют личности выйти в мир, поглядеть, как люди живут, *поучиться* у других, те, что мешают человеку строить свою жизнь по-новому, *не так*, как жили предки, может быть, достойнее, чем они. Враги полувосточному народу те, кто советует ему двигаться только на восток, на псевдородной северо-восток, не глядеть на запад — нечего-де учиться у чужих. Знай сверчок *только* свой шесток — тем самым расписываясь под тем, что он "сверчок", не

"человек". И это в то время, когда весь Восток только и смотрит (хотя и с разными чувствами) на Запад и только от Запада ждет помощи. Нет, раз ты от природы (от "почвы") соленый, то и соли себя, соли соль. Верное средство сохраниться от "порчи".

Враги народу — нынешние "почвенники" его: неразумно любящие, недостойно, безобразно любящие его, отрицательно — по отношению к другим народам, к "инородцам" — любящие его: как народ-племя, а не как народ-личность. "Почвенники" — от комплекса неполноценности национального сознания, от неверия в способность своего народа учиться у других. Когда пророк наших дней в ответе А. Сахарову («Из-под глыб», 1974) с восхищением ссылается на слова С. Булгакова, что «Западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим», мы слышим голос культурно слабого, голос неверия в силы своей нации, в национальную "переимчивость" русского ума, которую он доказал в лучший период, в петербургский период своей истории. Пророческий дар от Исайи до Исаича, увы, неузнаваемо деградировал! Когда из урока Февральской революции, за которой последовал Октябрьский переворот, этот же пророк выводит: «Видите, к чему привела свобода, русскому народу нужен только строй авторитарный», — и это несмотря на все уроки последующего сверхавторитарного периода, — становится

ясно, что русского пророка покинул и "русский ум", "задний ум". От неверия в свои силы.

Для нации, великой нации, страшна не отсталость сама по себе (исторический народ-личность *выходит* из своей отсталости), не временные поражения, в частности, военные (в истории России более роковыми оказывались военные победы, за которыми не раз следовали позорные периоды политической реакции — от самоуспоения), даже преступления по отношению к самому себе и к другим нациям. Всего страшнее и губительнее, если народ о них не помнит, не учел их, не пошел по новому пути (как в наше время великие нации Германии и Японии). Нации, как и человеку, свойственно ошибаться, преступления совершали и святые. Плохо, очень плохо, когда народ не помнит, не хочет помнить о грехах своего прошлого, не любит, чтобы ему об этом напоминали ("Зачем вспоминать старое?"), когда «в степи мирской» он по-племенному, природно беспamięтно всему предпочитает «холодный ключ забвенья», что «слаще всех жар сердца утолит». Старая истина гласит: кто не помнит уроков истории, осужден их повторять. Еще хуже, когда вину за национальные свои грехи возлагают на других — на влияния со стороны, на иные народы той же страны, на инородцев, на свою интеллигенцию, на свое руководство, правительство, на любых *иных* — отказываясь "виниться", возлагать вину на себя: тем самым отка-

зываясь от национальной зрелости, от своей личности, предпочитая полуплеменное нравственное несовершеннолетие.

Но всего хуже для народа, когда отсталость и национальные недостатки возводятся в достоинство, в национальные преимущества: антилогика комплекса неполноценности, который, по закону амбивалентности, переходит в высокомерие. В относительно скромной — ибо "сострадающей" — форме комплекс выступает в *умилении* перед национальной нищетой «бедных селений», «скудной природы», перед «краем родным долготерпенья», его «наготой смиренной», которых не может оценить «гордый взор иноплеменный»; но уже и здесь есть обожествление родного убожества, как «ноши крестной» страны, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, *благословляя*» — очевидно, на вечное рабство? В более высокомерной форме комплекс становится "учительным" и фанатически нетерпимым. Ибо в основе его лежит *неуверенность* в своей правоте: «Фанатизм — это сверхкомпенсированная неуверенность» (К. Юнг). У каждой нации есть ее призвание, национальная миссия — прежде всего по отношению к себе; нация творит сама свою судьбу, помогая, кроме того, в меру своих сил, другим нациям. При комплексе неполноценности миссия, миссионизм переходит в гибельный мессианизм. *Все* нации должны быть смиренны, покорны, соборны, как мы, —

шествовать под нашей крестной ношей. Все должны быть распяты, как Мессия, — некий нравственный долг для всего человечества, спасение от гильотины свободы. Никаких наций как "личностей", "лиц" человечества: одно "лицо", одна модель для всех лиц! Личное — лишнее. В идеале — человечество, как стадо во главе с одним быком, "племенным" Лицом. Эсхатологические чаяния "конца времени", блаженного "конца Истории", нередкие, увы, в истории русской мысли.

Нынешнее "почвенничество", его патологический комплекс, мегаломания, мессианизм, разумеется, утопичны, в крайних своих формах достаточно абсурдны, непрактичны, несовместимы с национально русским "здравым смыслом". Это "почвенничество" — во всех его видах, официальных и полуофициальных — в конечном счете достаточно беспочвенно. В наше время грядущее нации (любой нации, как и человечества в целом) неясно, "открыто", — как и природа личности, под знаком которой развивается История в наше время. Народ, тем более большой, многочисленный народ — даже если в нем много неразвитого, племенного — *должен* стать полноценной личностью, *может* ею стать, создать условия для развития национальной своей культуры, которую творят только личности-индивидуумы, а не авторитарные верхи, творят не соборно, а свободно — в спорах, диалогически. И надо *надеяться*, что великий народ выйдет из пере-

живаемого кризиса, несмотря на своих "почвенников" — вверху и внизу.

Вера в свой народ — вещь хорошая, когда она опирается на факты, знание, дела («вера без дел мертва есть»). *Слепая* вера, самоуверенность — например, в религии уверенность, что ты уже спасен, — опасна, кощунственна, порой гибельна. *Любовь* к своему народу — тоже хорошая вещь, когда она свободна от шовинизма, от чрезмерных иллюзий, из-за которых — по амбивалентной природе любви — легко переходит в ненависть («Россию я теперь люблю ненавидящей любовью», — в отчаянии говорил Блок год спустя после «Двенадцати» и «Скифов»). Из трех богословских добродетелей самая верная в наше время, это скромная и достаточно оправданная — в силу вечной "открытости" национального характера! — Надежда.

Надежда всегда с нами.



ПАРАФРАЗ ИЗ «ОСНОВ ЛЕНИНИЗМА»

По стилю сталинизм — на свой лад высший этап ленинизма — это соединение американской преступной деловитости Гангстера с карамазовским размахом "широкой" русской натуры Подонка.



ПАМЯТИ М. М. БАХТИНА

В дореволюционной России бытовала вежливая форма обращения «ваше степенство» — начальная, самая низшая, применяемая к недворянам, купцам, мещанам и т. д. И действительно, в этом титуле — первоначало человеческого достоинства. Существо личности — в отличие от особи, ее особенности, своеобразие, от неделимости индивида, — это *незавершенность* (в своем характере завершено только животное), "открытость", потенциально динамическая "ступенчатость" ее качества. Личность — это *Ваше Степенство*, *Ваша Ступенчатость*. (Русские слова "степень", "ступень" — этимологически тождественны). В этом мудром народном титуле в зачатке заключены и более высокие "степени": «благородие», «высокоблагородие», «светлость», «сиятельство», «превосходительство»

— даже «ваше высочество» и «ваше величество» человеческой личности. Короче: "В начале была Степень".

В русском слове «степенство» есть и оттенок "солидности", внутренний собранности, самообладания, "зрелости". В *степенной* личности "подростковый" человек достигает совершеннолетия. Впервые в его поведении сказывается не инстинкт, не безрассудная страсть, а разум; не душевное воление, а духовная свобода и нравственный долг.

В советском (глубоко национальном, надо признать!) языке слово «степень» обрело более конкретное — и вполне завершенное, *иерархически* определенное значение: «научная степень». Надо "получить степень", "надо остепениться". Надо "защититься" (также в новом значении слова; не без оттенка долга, но не перед истиной, как в научной защите наивных старых времен) — защитить себя против "другого", против сослуживцев, конкурентов: дабы занять — в "конкурсе" — место, должность. Есть «научная степень» и на ее основе — после успешной самозащиты — «научное звание», бюрократический суррогат "призвания". "Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан". Пора, пора "остепениться" — когда «ужель мне скоро тридцать лет».

В "борьбе" за степень («в борьбе обрешь ты право свое»: "борьба", "бороться", "он боролся", "они борются за..." — слова весьма распространен-

ные в устном и книжном словоупотреблении — в частности, у критиков, искусствоведов, литературоведов, историков, когда они воспевают борцов проклятого прошлого и героического настоящего: прямо не жизнь, а сплошной бокс!), в борьбе за степень дело порой доходит до инфарктов, инсультов.

Литовское слово *stêpas*, этимологически родственное русскому "степень", означает «апоплексический удар». Ибо преуспеть в этом плане — далеко не легкое дело; требуются немалые соответственные способности, а главное, напряжение, приводящее к патологическому перенапряжению.

Наши потомки некогда с изумлением узнают от историка нашей культуры, что М. М. Бахтин, крупнейший русский литературовед XX века, с немалым трудом был утвержден ВАК'ом (за близкую гениальности диссертацию о Рабле) в низшей степени *кандидата филологических наук* (знаменитая его книга о Достоевском уже была издана за 20 лет до этого соискания). Ибо в научной работе о Рабле наивный автор рекомендовал ученым заняться, ни много ни мало, изучением народных неприличных ругательств, — по мнению диссертанта, темой весьма поучительной и плодотворной! "Защищаясь", домогаясь "степени", почтенный Михаил Михайлович явно не обнаружил достаточной *степенности*, солидности («и это в то время, когда мы боремся (!) за чистоту языка, за культуру

речи!» — негодовала во время обсуждения диссертации на Ученом Совете одна из выступавших ученых дам, некая, при такой скандальной защите не растерявшаяся, тов. Теряева).

Махнув рукой, М. М. Бахтин так и не стал домогаться, "со-искать" (вместе с другими) следующей "степени" — доктора наук. Так и остался жалким "кандидатом" в ученые. И, вероятно, только поэтому дожил, несмотря на серьезные физические недуги, до 80 лет!



ПАМЯТИ НЕМЦА МАКСА ФАСМЕРА,

АВТОРА

«ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

РУССКОГО ЯЗЫКА»

«Русский юмор» ("гумор" — влага) — это «русская горькая», воплощение своеобразия натуры и духа русского. Четвертинку сей родимой и незаменимой влаги надо в родной стороне — для духа — всегда иметь при себе. В боковом кармане. Ближе к сердцу.



ПАРАФРАЗ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ЕВАНГЕЛИЯ,

•
ИЛИ

•
КОНЕЦ ВСЕМ ФРАЗАМ,

•
ПАРАФРАЗАМ

•
И ВСЯКОЙ ПАМЯТИ

(посвящается А. Зиновьеву)

Начало *Ивангелия от Ивана*. Вначале был начальник. И у Начальника было Слово. И Слово было Начальник. И Слово было «Да будет». И сказал Начальник: «Да будет *мой* свет». И бысть *его* — только его! — свет. И Начальник увидел, что свет хар-рош! И сказал Начальник: «Да скажут все: Хар-рош свет, хороша Страна Начальника. Я другой такой страны не знаю. Многовней...» И воистину, Иван другой страны не знает. И много в ней — этого самого. И был вечер, и было утро, день первый — и последний. И Ангел в небесах клялся — матерно клялся! — что времени больше не будет. «Это есть наш последний...»

И время остановило свой бег — вовек.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Давно не испытывали мы всемирную культуру как современную жизнь — как вечнозеленое дерево, растущее "откуда-то оттуда", в золотом веке, с того света, с незапамятных времен, и достигающее ветвями до неба, до будущего, до окончания истории.

Поэтому рукопись Н.Лепина, доставленную из России, мы публикуем здесь, в "Синтаксисе" №7, в виде актуальной книги, которую не хотелось мешать с другим журнальным материалом. Она, сама по себе, — журнал. В ней каждая глава (парадигма) — полемическая статья, критическое исследование, художественный рассказ о художниках мысли, о духовном искусстве. А вместе с тем, в источниках, перед нами живой текст универсальной культуры, написанный для всех и для каждого из нас персонально, читаемый сейчас и всегда как единственное послание.

Вероятно, неизвестный автор "Парафраза и памятований" всю жизнь посвятил изучению истории культуры. Но труд его и знания сопровождались полетом пчелы, собирающей попутную дань с цветов в какой-то еще дополнительный, уединенный угол.

Сравнение с пчелой меня не оставляет при виде этой легкой и прочной литературной постройке. Структура ее похожа на пчелиные соты, где многогранники ячеек, соединенные ребрами, тонкими переборками, держат в воздухе весь домострой. Попробуй разрушь: культура взаимозависима, многогранна и неделима в композиции — соприкосновением веков, гениев, стран, религий и народов. Тоже от пчелы — мед, густой и сладкий (иногда с легким, лесным, горьковатым привкусом). От пчелы — воск для свечи: "Божьей угодницей" называли пчелу в России. От нее же — укусы (нелезь!), болезненные и целительные. А пыльцу кто разносит — с культуры на культуру? Аромат. Темный воздух в деревянном улье. Работа — не для себя, на других...

Да и был же, в конце-то концов, в Греции, на Руси прекрасный жанр - «Пчела», «Пчелы». Сборники изречений, запасники мудрости,

питавшие отечество всемирными притчами. В книге Ленина всякий очерк, отдельная глава — притча. Поучение без навязчивости, доступное всем, как развлекательное чтение. Только материалом притче служит здесь не действительность, а филология — искусство слова, мысли и духа. И это лучше действительности. Точнее. Провереннее. Глубже. Разумнее. Интереснее. Эта книга возвращает нас к Филологии в первоначальном понятии: прочти внимательно, подумай, сравни, объясни и полюби этот текст, как самого себя. Это память о том, что наука тоже когда-то была искусством. Удивительно, что эта рукопись пришла к нам сейчас из Советского Союза, где все шибко ученые (даже малограмотные), но всемирной культуры, казалось, и след простыл...

Ведь ученые (в том числе - филологи, философы, историки) — люди надутые. Важные. Ходят индюками (профессора). Как сказал Лао-Дзе: "Умные — не учены. Ученые — не умны". Изъясняются — авторитетно, торжественно. О том, что Истина, помимо прочего, — это веселье (или скорбь), а не просто информация, они забыли. Публикуемый текст напоминает нам, что в Истине, покуда она жива, должно быть нечто от "игры", от "священного фарса". Что Ирония не опасна для Истины, но ее сопровождает (чтобы не засиделась), давая понять, что Истина — всегда нова. Нет старых истин. Ирония — поворачивает... Это знал Пушкин.

Пушкин ничему не учил кроме, как обратимости всех вещей и явлений на свете, искусству, заложенному самим Богом в историю, в человека и вселенную. Потому-то Пушкин и открыл нам "весь мир", сообщив ему и России с ее метафизикой импульс относительности, обратимости, иронии. В его присутствии все приобрело образ легкого перевертня.

История и природа полны, в сущности, юмора, необходимого, порою весьма печального, многообещающего, не дающего застыть понятиям и вещам. Барышня и крестьянка, Моцарт и Сальери, царь и самозванец, поп и балда — меняются местами. Потому-то жизнь и вертелась под его пером, как живая, в согласии с обратимостью и авновесием искусства.

Пушкин вдохнул иронию в русскую культуру и та ожила. Но с тех пор всякий раз, потеряв иронию, она столбенеет, с выпученными глазами, облизываясь, — "по стойке смирно". Ке необходимо периодически смешить, подзуживать, тыкать по-дружески в бок — в напоминание о ее "всемирной отзывчивости"...

Мне кажется, книгу "Парафразы и памятования" следует читать в ключе и в освещении Пушкина.

Абрам Терц

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Гаутамы Будды	4
Парафраз из Конфуция	7
Памяти Хама, сына Ноева, или парафраз на тему Ветхого Завета	11
Памяти Горгия	15
Памяти Сократова демона	16
Парафраз из «Отче наш»	21
Памяти раби Иегошуа или о психофизическом параллелизме	22
Парафраз из Плиния Младшего	24
Парафраз из Ювенала	25
Памяти Валентина	26
Парафраз из бл. Августина.....	29
Парафраз из Абеляра	31
Парафраз из Джелальеддина Руми	35
Памяти Иоахима Флорского — с парафразом из Нильса Бора	39
Парафраз на тему трагического у Шекспира	44
Парафраз из Якова Беме или гносеология зла	48

Памяти Ларошфуко.	54
Три парафраза из Спинозы.	55
Парафраз из Шарля Перро.	69
Памяти Фальконе — с парафразом из Пушкина.	71
Памяти Шамфора.	73
Парафраз из Фонвизина.	77
Памяти Лермонтова.	79
Памяти Кьеркегора с парафразом из Ницше.	82
Памяти Дарвина.	88
Парафраз из Чехова.	89
Парафраз из А.Франса	
и памяти позднего В.В.Розанова.	90
Памяти Бердяева.	91
Парафраз из «Основ Ленинизма».	101
Памяти М.М.Бахтина.	102
Памяти немца Макса Фасмера,	
автора «Этимологического словаря	
русского языка».	106
Парафраз из последнего Евангелия	
или — Конец всем фразам, парафразам	
и всякой памяти	107



Цена номера 22 фр.франка.

Подписка в редакции на 4 номера — 70 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.